

Константин
ГНЕТНЕВ

г. Петрозаводск

Ветреный полог

повесть



«Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семья».

Мишель Монтень,

«Об искусстве жить достойно»

Часть первая НА КРАЮ КОТЛОВАНА

Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
я увижу волчьи изумруды
в нелюдимом северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
и пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
хорошо, что мы нашли друг друга,
в прежней жизни потерявши все...»

Павел Васильев,
февраль 1937 года
(стихи, написанные в тюрьме)

Если можно двумя словами назвать чувство, владевшее людьми на гигантском пространстве стройки, слова эти были бы ожидание и надежда.

Сотни серых и уставших, кувалдой и зубилом дробивших камень и тачками выкатывающих в соседнее болото, ждали обеда и конца смены. Потом они колонной уходили в нетопленные, холодные бараки, чтобы расправить спину на жёстких нарах и немного отдохнуть. Надеялись только на одно: дотянуть до конца срока более-менее здоровым и уехать в деревню, «а уж там, на воле...»

Наивные...

Другие ждали окончания работ, новых должностей и мечтали о назначении куда-нибудь в управление, подальше от этого «грязного, вонючего скота».

Были и третьи, кто уже ничего не ждал. Они знали, что после этой каторги для них непременно явится другая, где всё повторится в ещё

более жёстком и неприглядном виде, и что впереди нет никакого просвета. А надеялись они всяк на своё, потаённое. Они никому и никогда не признались бы, на что они надеялись.

1

Осуждённый по статье 58, пункт 10 (пропаганда и агитация) на срок заключения пять лет Андрей Никитин надеялся, что ходатайство о переводе жены с Водораздельного отделения сюда, в восьмое, будет наконец-то удовлетворено. И для такой надежды у него были основания. Не только потому, что ходатайство уже третье за последнее полгода. Вчера лагпункт посетил начальник отделения Моисеев, и первый шаг к этому был сделан. Не слезая с лошади, Моисеев выговорил за что-то бригадиру, погрозил кнутом с обрыва в котлован и уехал в штаб на обед.

После обеда, подобревший и повеселевший, Моисеев зашел в учётно-распределительную часть. Здесь он по-хозяйски приобнял заключённого Никитина и, стараясь дышать в сторону, как бы в шутку попросил-приказал:

— Ты, Андрюша, что-то давно статейки в «Перековке» не давал. Надо, надо бы дать статейку, а? Кадры работают, преступника исправляем, дело идёт согласно установленному графику. Статейка будет в самый раз.

С редакционных времён слово «статейка» ненавистно Никитину, но в этот раз решил промолчать. Пока сотрудники стояли, мучительно решая про себя, можно ли им сесть в присутствии большого начальника, Никитин протянул Моисееву ходатайство на жену.

— У меня ведь непосредственный начальник есть, Семён Львович. Он работой загрузил, спать некогда. И мой вопрос уже полгода не решается. В третий раз вот обращаюсь. Никакой нет возможности статейки писать.

Моисеев коротко глянул в бумагу:

— Решим. Она ведь у тебя с институтом? А у вас в проектной части, знаю, вакансия техника-измерителя, так? — Моисеев повернулся к

начальнику лагпункта Митрофанову. Тот быстро закивал головой. — Вот. И Андриюше слабину дай, чтоб наше отделение в «Перековке» прогремело. Не умеешь с кадрами работать, ёшь твою в корень, всё учить приходится, — завершил он грозно и удалился.

Весь в ремнях, с наганом, два ромба в петлицах, Моисеев все свои разговоры завершал жёстко, с раскатами в голосе. В штабе знали, что в подпитии начальник Восьмого отделения БелБалтЛага не раз хвастался, что его звание равно армейскому комдиву, а потому по мере сил старался соответствовать тому, как он это генеральство себе представлял.

Никитину за тридцать. Чуть выше среднего роста, всеми своими движениями источающий текучую, завораживающую силу, он казался спортсменом, хотя никогда им не был. Доброжелательный взгляд в глаза, мягкая улыбка, умение двумя-тремя словами предельно сократить дистанцию с собеседником делали его своим в любой компании. «Человек из редкостной категории счастливицков «сам по себе и всем друг», как говорили о нём в редакции.

Никитин убрал папки со стола в шкаф и подошёл к окну. Май вступил в полную силу, и теперь только узкая полоска зари на западе обозначила поздний вечер. На Севере начинались прозрачные ночи. Пора белых ночей — проклятая пора в лагере. Работа в это время не имеет ни начала, ни конца. А для административного состава она самая желанная. Не нужно тратить средства на обогрев и дополнительное обмундирование, хлопотать об освещении стройплощадок и усилении охраны. На дворе что день, что ночь — всё светло и тепло.

Повсюду, куда ни глянь, взрытая земля, осколки скалы и люди, люди, люди... Вчера тело будущего шлюза едва замечалось в острых контурах взорванного гранита, а сегодня уже выкатчики-крючники тащат тачки с трёхметровой глубины. И сколько этих тачек может выкатить человек за бесконечную смену, знает только лагерный врач из поволжских немцев Грубер, сам измождённый и шатающийся от усталости.

В позднюю пору в штабе тихо. И на втором этаже, в учётно-распределительной части, пожалуй, самом многочисленном отделе штаба, погашены огни. Никитин перенёс на свой стол

зелёную настольную лампу начальника и достал из-под вороха бумаг вчерашнее письмо жены Татьяны.

«Милый, милый мой Андриюшенька! Радость моя! Уж в каком письме подряд ты сетуешь и бранишь себя, что привёл меня тогда с собой на этот ваш праздник. Не надо. За год лагеря ты ведь убедился, наверное, что меня непременно арестовали бы вслед за тобой. Была ли я там, на ваших редакционных посиделках, или не была — всё едино. Перестань! Ни в чём ты не виноват передо мной. Давай говорить о том, что с нами сейчас и что будет, когда весь этот ужас закончится».

Никитин отложил письмо и прикрыл глаза. Сколько же они не виделись? Год? Нет, больше. Он вспомнил её, встревоженную, торопливыми хлопотами пытавшуюся скрыть волнение. Он уходил из дома с повесткой и в душе надеялся, что допросят и отпустят. На что надеялась она? Никитин вспоминает лицо жены с чёрными кругами вокруг огромных глаз, её быстрые пальцы на пуговицах пиджака, щекотку локонов в последнем поцелуе у двери. Да, наверное, Таня права. Ведь и его арест был предreshён. Это как снежная лавина в горах: тысячи тонн снега висят, готовые сорваться в долину, — случайный камень, лёгкая пробежка зайца, и катастрофу не остановить...

Никитин вспомнил разговор с редактором после тех злосчастных посиделок. Ребята разошлись, они выпили по полстакана оставшегося по бутылкам портвейна, и редактор подсел к нему на продавленный кожаный диван. Склонившись чуть ни лоб в лоб, говорили вполголоса:

— Ну зачем тебе этот тон, Андриюша? Кого ты хочешь убедить, что они там, в каменоломнях на Гольце, все поголовно невиновны? И что разорили деревни ни за что? Думаешь, всё это сделано просто так, за здорово живёшь, да? Ты сам-то убеждён в этом? Не могут же все врать, правительство, органы, партийные кадры. Ты подставляешь не меня, а товарищей, свою газету...

Никитин молчал. Спор давний, все слова сказаны не раз. Что тут добавишь? Редактор, видимо, понял молчание по-своему, как очередной укор.

— Да, я материал снял. Снял! Редактор и обязан был. Но думаешь, о нём не сообщили куда надо? Да в тот же день. Я? Что я? У меня работа такая, да, не сахар...

И редактор замолчал. «Бойтся наговорить лишнего, — подумал Никитин. — Да и чего он нового скажет, всё без него известно — и про стучачество в редакции, и про бдительных товарищей в ремнях». Они молчали, думая каждый о своём, о своей маленькой правде, как они её понимали в тот момент. И оба знали, что да, и коллеги они, и в одной газете, и общее дело — да! да! Оба любили свою работу, но всё равно правды у них очень непохожие. Но где-то глубоко в душе с тем, что правда у них не одна на всех, не хотелось соглашаться ни Никитину, ни редактору.

— Конечно, ты птица высокого полёта. Тебя знают, всем ты друг — и в ЦК, и в наркоматах. Все хотят дружить с тобой. Как же — сам Никитин, известнейшая личность! Талант! В самой Москве известен! Горький поздравлял!

Редактор склонился к Никитину ещё ниже и уже не сказал, а прошептал прямо в лицо:

— Но это не спасёт, дружище, не спасёт, поверь мне. Почему? Да потому, что каждый теперь своей тени боится, каждый сам за себя...

Где он сейчас, толстенький, умненький и вечно заполошный редактор? В первом письме, ещё с воли, Татьяна писала, что в редакции почти никого не осталось от старого состава. И Никитина его влиятельные друзья не спасли. Даже словом не вступился никто.

Никитин снова взялся за письмо:

«Счастье моё! Обо мне не переживай! Я устроилась очень хорошо! Так хорошо, что даже советно перед тобой. Работаю в Общей части. Живём мы вдвоём с нашей машинисткой. Комнатка маленькая, заниматься тесновато, зато тепло. Здесь у нас прекрасная столовая: в 12 часов завтрак, в полпятого обед из двух блюд — это если доплатить 6 рублей в месяц. Я доплачиваю, потому что мне одних премиальных платят до 20 рублей в месяц. Это столовая для техперсонала.

Почти всё свободное время, а это с половины пятого до девяти вечера, я провожу в читальне. Библиотека здесь неплохая, устроена замечательным москвичом, учёным библиографом Г.И. Поршневым. А работаю я с удивительным

человеком, красавицей, умницей, учёным астрономом и математиком Валентиной Михайловной Лосевой. Её муж философ и писатель А. Ф. Лосев работает в Медгоре, в проектно-отделе. В.М. часто говорит о нём и жалеет, потому что у мужа слабые и больные глаза. Да, вчера я прочитала в газете ругательную статью о скаутах. Пишут ли тебе твои ребята? Где они? Что с ними стало?»

2

Никитин спрятал письмо и вернул лампу на стол начальника. Глаза слезились, и пора было идти отдыхать. Эти папки с сотнями листов, исписанных ужасным почерком и часто неграмотными людьми, которые ему приходится разбирать с утра до вечера, вгоняли в тоску. Глаза отказывались справляться с работой и к вечеру болели тупой болью.

Да, о ребятах из скаутского окружения он почти ничего не знал. Где они, Серёжа Шарыгин, Володя Зотов, Сергей Шибанов? Недавно случайно услышал, что Боря Солоневич на Соловках, уже прославляется на острове организацией спортивных соревнований и кружков по типу скаутских, правда, теперь среди заключённых. Боря не пропадёт, он настоящий спортсмен, «скаутмастер». Сам Никитин не успел, дотянул только до звания «сокола», что тоже немало.

В конце мая 1929 года ГПУ принялось за скаутское движение. Произошло это быстро и тихо, и они упустили время, вовремя не затаились. 13 ребят арестовали, а с ними и двух девчонок «гёрлскаутов». Как нас тогда называли? Да, «антисоветские скаутские банды». И то, если посмотреть глазами чекистов, настоящие «банды» и есть: форма, звания, дисциплина, многодневные походы в лес, тренировки по выживанию, хождению по азимуту, стрельбе... Разве такое возможно теперь?

Но почему после ареста следователь не вменил ему участие в движении? Не припомнил «сокола»? Загадка. Думать, что не знал, Никитин не хотел, не верил. Наверное, оставил на потом, как «крючок» на будущее, если вдруг понадобится для добавления срока или шантажа. Появится нужда, и тут же поднимут бу маги: ага, вот он, голубок...

Никитин запер двери отдела и вышел. Короткое северное лето уже на пороге. В небе прозрачно и светло, несмотря на поздний час. Недалёкий котлован гудит ровным гудом, будто машина с запущенным двигателем, звенят кувалды ручного бурения, вскрикивают голоса.

Никитин узнаёт эти крики. Так кричат тачечники, изо всей силы вкатываясь из котлована на дощатый трап. Трап имеет наклон, и если заключённый с проволочным крюком — «крючник» вовремя не зацепит и не потянет вверх нагруженную битым камнем тачку, она покатится назад, опрокинется и придавит человека вниз. Из-за неповоротливых «крючников» каждую смену кого-нибудь из тачечников относят в лагерьный лазарет с ушибами и переломами.

— Что-то ты, Андрейко, поздненько сегодня, — пробурчал дежурный в столовой, украинец Титаренко. — Подмели вже усё.

Громадный, невероятной силы бывший колхозник Титаренко сидел за «вбивство комсомольца», с ударением на последний слог, как говорил он сам. Комсомолец с группой таких же активистов явились в дом, съели всё, что достали из печи, и забрали заготовленный на неделю печёный хлеб. Титаренко вытерпел. Комсомолец, хоть и крепко выпивший чужой самогонки, представлял деревенскую власть, самопровозглашённый «комитет бедноты». Но когда, наевшись и напившись, решил выгрести последнее зерно, Титаренко не стерпел и «просто толкнул» его, чем почти расплющил о стену дома...

— Начальство держит, Петро. Начальству ведь наплевать, ел — не ел, спал — не спал. Сам знаешь. Посмотри, вдруг найдёшь чего.

Титаренко принёс в мятой алюминиевой миске жидкого супу и кружку прозрачного чаю. На гигантской 220-километровой сталинской стройке, растянувшейся на половину Карельской республики, закончился ещё один день.

3

Перед обедом Никитина вызвал начальник лагпункта. Бывший милиционер и такой же заключённый с пятью годами срока, Митрофанов работал много и честно. Так вели себя все они, бывшие милиционеры, прокуроры, районные и городские начальники, с первых дней в

лагере мечтающие сделать карьеру и пробиться в нарядчики, бригадиры, мастера, завскладами. Пробившись, они создавали касту и держались друг за друга мёртвой волчьей хваткой.

— Ну как, Никитин, над статейкой-то думаешь? Хозяин просил, надо сделать. Я тут дал распоряжение, чтоб тебя снабдили цифрами по объекту в разрезе бригад. Хорошие цифры, хорошие.

— Меня вчера к ночи ноги еле до барака донесли. В отделе работы конца и края нет. Неграмотность сплошная. Мрак в делах.

— Где же их, грамотных-то, на все лагеря наберёшься? Ты да я. Я что говорю: фактики подбери, цифирь какую, а потом разрешу день-другой поработать в читальне. Вот и напишешь. Лады? Надо, надо про Отделение в «Перековке» дать, чтоб хозяина в Медгоре видели и ценили. Ему двигаться надо, не всё в Шишне сидеть.

Перед дверью Митрофанов окликнул Никитина:

— Погоди чуток. Ты что, на самом деле с Максимом Горьким ручкался? С великим пролетарским писателем, любимцем товарища Сталина вот так, как мы с тобой, беседовал? И какой? Ну да! Хвалил?! В своём журнале «Наши достижения» печатал?! Да-а-а...

Митрофанов откинулся на спинку стула и оценивающе поглядел на Никитина. Всем своим видом он давал понять: ты, конечно, птица, но и мы тут не просто так, кой-какую власть имеем.

— Совсем забыл сказать. Решат с переводом жены с Водораздела, я отдельных хором для вас не имею, сам знаешь. Указание по лагерям вышло, супругов разрешено вместе содержать. Свидания там, встречи — это теперь можно. Да, хоромы не разрешат, нет. Но при лазарете комнатка есть, там медичка, вот туда её подселю. Медичка всё время на работе, не помешает. Ха-ха-ха... Понял? Ну, работай.

«Родная моя Танечка! Отрада моя и единственное счастье на земле! Хлопочу о переводе тебя к нам в Отделение и вроде бы обещания от начальства имею. Даже комнатку для тебя подыскали при лазарете. Там девушка живёт, Варя, дочка сосланных кулаков. С виду смиреннькая такая, робкая, но характер. Дважды бежала из спецпосёлка. Во второй раз сняли с поезда в

Званке, в посёлок не вернули, а определили прямиком в лагерь, дали три года. Работает у нас в лазарете сестрой. Я уверен, вы подружитесь.

Как же мне тягостно здесь, радость моя сладкая! Грубость, невежество, хамство со всех сторон правят бал. Чтобы обрести радость увидеть тебя здесь, обеспечить хоть какую-то, пусть малую, защиту, соглашаюсь писать в газету. Большого насилия над собой, худшего надругательства над профессией человеческого разуму придумать невозможно. Ладно, я в лагере, но ведь и на воле так. Изредка хожу в читальню, просматриваю газеты: ни анализа, ни обобщений, ни мысли! Лозунги, цифры и цитаты. Цитаты, цифры и лозунги. И всё это перемежается бранью врагов. А врагов-то обнаружилось сколько...»

В бараке душно от сохнувшей одежды. Ряды жёстких дощатых нар в два яруса, большая печь, выкроенная из металлической бочки, обвешана куртками и штанами и источает настоящий смрад. Заключённые курят, кто-то мечется и матерится во сне, зовёт маму, кто-то стонет протяжным, жалостливым стоном.

Никитин сидит за небольшим столом бригадира и нарядчика. Их угол занавешен старым одеялом, — здесь территория лагерных «придурков», обладающих какой-никакой властью над остальными. Да, власть у них маленькая, но вполне достаточная, чтобы отравить жизнь заключённому. Поэтому одеяло хоть и старое, но запирает пространство крепче, чем государственная граница. Никитину здесь никто помешать не может. Он думает о лагерной цензуре. Писать ли дальше? Пропустит ли? И решается...

«Милая моя Таня! Помню, на допросе следователь поучал меня:

— Ваше дело — быть диспетчером пятилетки. Дайте примеры героизма в труде, бодрой работы, критикуйте нерадивых в низовых звеньях, пишите об итогах соревнования. Не ваше дело анализировать, копаться в цифрах — было-стало, умничать в масштабах страны. Это дело партии. Ленин указывал, что газеты должны стать «орудием просвещения масс и обучения их жить и строить своё хозяйство». Своё, понимаете вы, своё! А вы на что замахиваетесь? Вы куда зовёте? Чему вас только учили в институте журналистики?

Я ответил, что учили прежде всего думать.

Спрашиваю следователя, знаком ли он с брошюрой «Дискуссионный материал», где есть статья «Больные вопросы» и некоторые другие, как раз о роли газет? Он прекратил допрос и отправил меня в камеру. Дня через три снова вызвал и говорит:

— В той дискуссии вам, конечно, больше по нутру позиция Мясникова?

— Да, — говорю, — это разумная позиция, способная двинуть вперёд развитие социалистического общества. Мясников предложил Ленину дать свободу прессе в обсуждении злободневных вопросов современности. Мало того, предложил одну из газет вообще превратить в дискуссионный клуб. Помните, как он пояснил свою мысль? «Советская власть будет содержать хулителей за свой счёт, как делали римские императоры».

— Да, и что же ответил наш великий вождь Ленин, тоже помните? Если нет, напомню. Владимир Ильич заявил, что смотрит на свободу печати в социалистическом обществе как на классовое историческое понятие и рассматривает как помощь врагу.

— Он заблуждался.

— Кто это заблуждался, Ленин?! Это вы заблуждаетесь! Это вы помогаете врагу! А мы вас поправим...

Подумай сама, разве может будущее общество стать лучше, если у вождей подобная позиция? Что нас ждёт? Шараханье из крайности в крайность, преступное самодурство и, как следствие, топтание на месте. Печально...

Приезжай скорее, радость моя! Больше всего на свете хочется сесть напротив и бесконечно смотреть в твои глаза. Бесконечно! Или неожиданно проснуться среди ночи и слышать у плеча твоё тёплое и родное дыхание, как это было раньше.

Как же давно это было, Господи! Думаю об этом, вспоминаю, молюсь втайне, и слёзы наворачиваются от жалости, что мало было у нас такого в жизни и что даже ту малость, что судил нам Бог, не очень-то берегли, всё думали, будет нам от счастья ещё много и бесконечно...»

Утром Никитин немного опоздал на службу. А когда поднялся в отдел, обнаружил коллег соб-

равшимися вокруг его стола. Тут же стоял угрюмый начальник лагпункта Митрофанов. Никитин подошел поближе и увидел, что стол залит чернилами. Чернила чёрными неряшливыми кляксами запятнали стопку оставленных с вечера бумаг и даже дела, которые, — Никитин помнил вполне отчётливо, — с вечера убрал в шкаф.

— Что это? — спросил Никитин. — Кто это? Зачем?

— Это мы должны спросить у вас, — мрачно ответил Митрофанов. — Сотрудники говорят, вы последним уходили с работы. И вахта подтверждает. А утром — такое...

— Я хорошо помню, папки убирал в шкаф. Как они оказались на столе? Да, я уходил последним и всё оставил в порядке. Чья это работа?

В комнате повисло тягостное молчание. Его прервал Митрофанов:

— Надеюсь, к вечеру вы восстановите испорченные документы и доложите мне. При этом основная работа не должна пострадать никак. Иначе я передам дело в информационно-следственную часть. Пусть они разбираются, вредительство это или простая халатность.

После обеда по дороге в штаб Никитина придержал за рукав Исаак Концельсон, пожилой статистик, совсем недавно, ещё года два назад, университетский доцент. Лысоватый, согбенный, улыбающийся вежливой, виноватой улыбкой, он избегал разговоров, сидел за столом в углу и не участвовал в обсуждениях и тем более в спорах.

— Дорогой Андрей, — сказал он тихо, — ви прямой и открытый молодой человек. Извините меня, иногда лишне прямой и открытый. Имейте послушать старого еврея. Будьте осторожны. У вас таки серьёзные враги. Да, да! С некоторых пор я не имею желания шутить. И они таки подведут вас под новый срок.

— Откуда у меня враги, Исаак Самуилович? Разве я строю кому-нибудь пакости?

— В том-то и дело, что не строите. Вы слишком талантливы и известны, а маленькие заурядные люди таких не любят. Разве я делал пакости? У меня были десятки последователей и учеников, меня печатали и приглашали в президиумы ещё до советской власти. Но я вот здесь, как изволили видеть. А бездари и неудачники там.

— Что же мне делать?

— Будьте осторожны. Разве вы не обнаружили, что на лагерной сцене образ всеобщего любимца выглядит фальшиво, не канает, как сказали бы наши новые друзья уголовники? Здесь таки выживают другие. Станьте внимательным и недоверчивым. И простите еще один совет старика: не оставляйте в столе писем жены.

4

Нужно согласиться, на самом деле он многого не заметил, прожив в лагере целый год. Старался быть со всеми одинаково ровным, не кичился близостью к начальству, которую само же начальство всё время подчёркивало. Да, замечал косые взгляды коллег, ощущал недружелюбие блатных, которыми заполнен лагерь. Думал, ну что же, это нормально, не пряник и нравиться всем не обязан. Но чтобы возненавидели до такой степени, не предполагал.

«А чего, собственно, ожидать от лагеря, если на воле не лучше, — подумал он. — Если там едят друг друга поедом и не чураются оболгать».

Он вспомнил отца и тот тихий разговор с матерью поздно вечером на кухне, закончившийся слезами. Разговор, который он невольно подслушал. Отец только вернулся из театра и объявил, что во втором МХАТе не возобновляют «Орестею» Эсхила.

— Сколько сил потрачено, сколько поисков и находок, и всё зря! — говорил он срывающимся, трагическим голосом. — Сколько вариантов сценических костюмов исполнил, ввёл достоверные детали из археологических находок! Боже мой! Одно золотое украшение ладоней Клитемнестры стоило десятка бессонных ночей!

Никитин слышал, как отец порывисто вскочил и в волнении заходил по кухне. Были, были у родителей волнения и раньше, и громкие разговоры, и спорили они подчас о чём-то таком, что Никитин не понимал по причине юношеского малознания. Но чтоб так? Наконец быстрые шаги стихли. Отец подсел к столу и продолжил взволнованным голосом, едва сдерживая себя:

— Жалко, как жалко своего труда и труда режиссёра Смышляева, артистов труппы! Жалко Орлову. Она ведь часами отработывала с режиссёром жесты, скопированные с древнегреческих ваз и барельефов. Ты понимаешь, репети-

рвала истово, до пота, до кровавых мозолей! Я тому свидетель! И всё насмарку!

— А в чём причина? Закрывать спектакль — это же не просто так.

— Сказали, «Орестея» «не ко времени». Да, пусть не ко времени, мол, кто-то из партчиноуш углядел скрытые намёки. Но почему запретили «Золотой горшок» Гофмана? Почему сняли в театре Вахтангова «Когда проснётся спящий» по Уэллсу? Что творится у нас, а?

Мама слушала и молчала. Она умела молчать, как умеют редкие женщины. И часто этим молчанием сказано бывало гораздо больше, чем можно выразить словами.

Отец, напротив, порывист, горяч и нередко излишне прям в суждениях. Он оформлял спектакли в московских театрах как художник сцены, занимался живописью, читал лекции по истории искусства, преподавал. Их дом всегда наполняли артисты, художники, режиссёры и литераторы.

Никитин вспомнил смешные объявления на входной двери. Когда маме становилось невмоготу постоянное многолюдье, она вывешивала на дверь объявление: «Никитины принимают по средам и воскресеньям в 7 часов вечера». Объявление помогало мало. На него просто никто не обращал внимания. Тогда она в отчаянии вывешивала другое: «Никитиных дома нет». Всё равно в дверь стучали, пока у мамы или отца не кончалось терпение, и гостей впускали.

— Ты что же, Лёня, не видишь, что многих уже нет в Москве? «Орестея»... Оглянись, — сдержанным шепотом говорила мама. — Как будто по цепочке идут: берут одного, тот с перепугу называет имена, адреса знакомых, сваливает на них несуществующие вина...

Мама помолчала, видимо раздумывая, говорить или нет, потом решились и добавила:

— И ведь к нам придут. Придут! Вчера получила телеграмму от свояченицы Марии Васильевны; её допрашивали, и она назвала наш адрес, мол, «бессмысленно скрывать, всё равно узнают».

Вышло всё в точности так, как предполагала мама. Отца взяли хамски, прямо с кафедры во время лекции, оборвав на полуслове. Маму вызвали повесткой на Лубянку, без вещей, будто бы на допрос об отце, и обратно уже не выпустили...

Никитин помнит катастрофу дома в квартире под названием обыск. От прежних жильцов Лопухиных в квартире остались гипсовые египетские копии из Музея изящных искусств. Всё было разрушено равнодушными, невежественными руками, — якобы в поисках оружия. Что не разрушили — разворовали; унесли издание «Фауста» с гравюрами Доре, чудесное распятие XV века из слоновой кости, даже деревянную иконку Богоматери на кипарисовой дощечке, и многое, многое другое.

Иконка воинствующему атеисту-богоборцу... Зачем? На рынок? Обменять на шмат сала? Кому нужен подобный погром? На что теперь надеяться в этом государстве? На кого? Что же им остаётся? Писать Самому, как это делают тысячи таких же, как Никитин?

Никитин вспомнил слова мамы о «цепочке». Но ведь он встречал и смелых, которых не так-то просто сломать, которые не только не боялись, но и откровенно презирали следователей. И они в свою очередь давали нужные показания. В чём же дело, не мог он понять. Что за наваждение опустилось на страну?

А дело в том, вдруг догадался он, что сильные духом интеллигенты, офицеры, священники верили, что следователи всерьёз хотят разобраться в существе дела, в той тотальной и кровавой бессмыслице, которая творится под маской правосудия. В обоснование собственной позиции они приводили аргументы, называли имена и факты. И вскоре становилось очевидным, что следователи вовсе не желали ни в чём разбираться. Для них всё было ясно с самого начала. Преступник назначался самим фактом ареста. Аргументация оправдывающихся служила лишь дополнительным набором информации для новых арестов, для сколачивания «вредительских групп», мифических «обществ» и тому подобного. Никитин знает несколько случаев, когда, обнаружив, что их злонамеренно использовали, сильные искали любой возможности покончить с собой.

Зачем, зачем, зачем, непрестанно думал он. И как же ему жить дальше?

«Любимый мой Алёшенька! Как же я соскучилась по тебе! Ты не представляешь! Жду, жду, каждый день жду перевода к вам в восьмое отде-

ление! Только бы увидеться с тобой, взять за руку и посмотреть в твои глаза! Всё бы отдала за это счастье!

Вчера с Валентиной Михайловной говорили о её муже. Он на Свири, сторожит склад с брёвнами, по восьми часов стынет на морозе. Учёный с мировым именем! И ты знаешь — рад! Рад! Пишет с юмором, что у него появилась редкая возможность неспешно подумать о науке и о жизни.

Алексей Фёдорович прислал вырезку из «Правды» со статьёй Горького о нём. Ты знаешь, мы прочитали и даже плакать не смогли, как оглушенные просидели. И это Алексей Максимович! Как же он мог? Горький называет Лосева ненормальным и малограмотным, сумасшедшим и слепым, советует повеситься... Пишет, что в стране «с невероятным успехом действует молодой хозяин, рабочий класс», что «создаётся новая индивидуальность». Как же мы с тобой жили, если не заметили нового молодого хозяина? Где он? Или это те, которые в португелях? А от хищной, неграмотной и вороватой «новой индивидуальности» вокруг тошно становится...

Очень хочу к тебе. Соскучилась и запуталась совсем! Вчера читала Чехова. Вот маленький и неприметный человек прошлого века — его герой. Может, правы те, что считают, что именно маленький и забытый чеховский герой наравне с бродягами челкашами выходит теперь на авансцену истории, расправляет плечи и становится главным создателем и творцом — тем «новым хозяином», о котором пишет Горький? Что нынешнее время — это для него?..»

«Милая, милая моя Таня! — думал Никитин с грустью. — Стройная, хрупкая, как девчонка, с большими доверчивыми глазами и сильной, до сих пор романтической душой. Тебе-то каково в этом аду? И почему так распорядилась судьба, что меня нет с тобой рядом?»

Из штабных окон второго этажа видно серое глинистое дно будущего канала. Вереницы лошадей, запряжённых в телеги-грабарки, вывозят грунт в отвал. Десятки заключённых копошатся в оттаявшем и теперь жидком месиве плывущего грунта.

Река здесь делает плавный поворот на северо-восток, и поворот этот инженеры-проектировщики сочли неудобным для будущего судо-

ходства. Канал прокладывают напрямую. Часть берега превращается в остров. За ним, на противоположном берегу, устроили большой песчаный карьер. Виднеется редкая гребёнка хudoсочного северного леса.

Что дальше, Никитину из окна не видеть, но он знает, бывал там не раз. Дальше будет дорога к райцентру, а за дорогой, вплотную, большой забор второго отделения-командировки. С противоположной стороны лагерная территория примыкает к берегу широкой и быстрой реки. Течение там настолько сильное, что переплыть русло невозможно — подхватит, унесёт и разобьёт о камни, затащит в стремительные буруны. Поэтому здесь нет даже забора. А за рекой вплотную топкое болото без конца и края, до самой финской границы.

Именно здесь, за рекой, начинается путь на Запад, в Финляндию, — сладостная мечта заключённых, решающихся «на рывок», как здесь говорят. Бегут часто, но недалеко. Куда там убежишь? Пребывая однажды в благодушном настроении, отделенческий уполномоченный НКВД рассказывал, что до границы придётся пересечь множество мелких и крупных рек, а на реках стоят деревни и хутора с постами красноармейцев из охраны.

«Думают, мы дураки, мух ловим. Никто ещё от нас не ушёл», — говорил чекист, попыхивая папиросой. Хотя Никитин слышал разговоры, что две группы хорошо подготовленных людей ушли. Говорили, побег организовали бывшие офицеры-армейцы. Но о таком громко никто не судачит. Как говорится, себе дороже.

После обеда в штаб принесли «Перековку» с его корреспонденцией. В отделе газета пропутешествовала со стола на стол. Коллеги жадно прочитали текст и ответили Никитину сосредоточенным молчанием. А перед концом рабочего дня вызвал Митрофанов.

— Молодец, Никитин! Хорошая статейка! Хозяин с утра звонил, велел передать благодарность. Наше Отделение на слуху, работу замечают в центре, значит, и нас не забудут если что.

От похвал, от самого вида текста, завёрстанного подвалом в газетной полосе, что лежала на столе Митрофанова, Никитину стало стыдно. «Как потаскуха, — подумал он про себя с горь-

кой безнадежностью. — Используют как хотят. Продаюсь за чечевичную похлёбку». Он ощутил вдруг такое бессилие, такую безнадежную тоску, что захотелось выть.

— Ты ведь в бараке живёшь?

— Да, у нас выгородка на четверо нар: бригадир, нарядчик и нас двое с инженером из техотдела.

— Ты вот что... Я уплотнил домик специалистов, там есть комнатка. Комендант поставит стол и всё, что требуется: чайник там, стаканы. Места маловато, конечно, но будет где подумать.

— Над чем? Ещё статейку писать?! — не удержался Никитин.

— Ну, не сразу, не сразу. Мы же с понятием. Да и скромнее нужно, иначе ведь и поправить могут: не по-большевистски, мол, зазнались, не одни вы в передовиках.

Комнатка в доме специалистов оказалась хоть и крохотной, но на самом деле уютной. Большую часть пространства занимала печь, точнее, один её бок. Другой бок обогревал соседнее помещение. Топилась печь из коридора. И что очень важно — комнатка была тихой и обещала жизнь без вони, храпа и матерщины по ночам.

Никитин исследовал комнату в надежде отыскать тайный уголок, где можно спрятать письма от жены. Такого уголка не нашёл. Зато оказалось, что столешница состоит из двух слоёв — внизу доски, а сверху крашеная фанера, с небольшим пространством между ними. Вот туда Никитин и решил складывать Танины письма, оберегая от чужих глаз.

«Здравствуй, милая моя, ненаглядная жена! Слышно ли тебе что-либо о переводе к нам? Не называло ли начальство сроков? Я готовлюсь и жду, жду каждый день! Просыпаюсь в надежде — вот-вот окрикну: «Никитин! Бегом на вахту, встречай жену!» И я тотчас брошусь встречать!

Как же приятно думать об этом, как мучительно считать дни ожидания, ты даже не представляешь!

У меня произошли перемены в быту. Переселился из барака в отдельное жильё. Митрофанов выделил комнатку, там тепло и уютно, а главное — тихо. Я осмотрелся и уже даже обжил-

ся. Как приятно будет нам вдвоём думать здесь о нашем будущем! Оно скоро наступит, правда ведь? Я стану работать ещё больше, выпущу книги, буду писателем. Мне ведь так много нужно рассказать людям, о многом предстоит написать, причём открыто, прямо и честно. Так, чтобы не было стыдно перед тем, кто придёт потом, после нас.

Ты спрашиваешь о маленьком герое Чехова, вдруг ставшем «хозяином». Да, старая литература дала нам целый сонм маленьких героев. И Гоголь, и Достоевский вывели людей, от которых ничего не зависит, которые не нужны ни государству, ни обществу, никому. Незаметные, лишние... Но разве сегодняшнего маленького, заурядного человека можно называть «новым хозяином»? Он хозяин чего, если не вправе распорядиться даже собственной жизнью, делом и семьёй? Мы с тобой разве хозяева, оказавшись на канале, хотя обладаем знаниями и многое можем сделать на пользу стране в своём положении? Какие преступления перед государством мы совершили?

Помнишь чеховскую «Скрипку Ротшильда»? По мне хозяин сегодня — это герой рассказа Яков Брынза, с его навязчивой идеей во всём видеть убыток. Помнишь, он подсчитал, что из-за праздников и воскресений в году теряется до двухсот дней, а это сплошной убыток. Даже смерть казалась ему полезнее жизни: не нужно ни пить, ни есть, ни податей платить. Нечто подобное о людях я слышу вокруг каждый день. Вот Яков Брынза сегодня и есть настоящий хозяин...»

Среди рабочего дня вызвал Митрофанов.

— Пойдём, встретим этап, — хмуро бросил Никитину, едва тот появился в дверях.

— Жена?! — обрадовался Никитин. Сердце его обрадованно заныло.

— Не спеши, — осадил начальник, грузно поднимаясь из-за стола. — Там, — он показал пальцем в потолок, — дела быстро не делаются.

У вахты стояла колонна понурых, донельзя усталых и осунувшихся людей. Охрана и комендант проверяли списки, выкрикивали имена, беспрерывно ругались. При виде Митрофанова суета и ругань только усилились — охранники показывали службу начальнику.

— Два новых барака на неделе поставили, — сказал Митрофанов, — и уже полны. А всё гонят и гонят.

Они ещё немного потоптались у лагерных ворот. Потом Митрофанов махнул коменданту рукой, чтоб продолжал, и они медленно пошли в посёлок по убитой до бетонного состояния дороге.

Никитин пытался понять, зачем Митрофанов взял его с собой, но не мог. Справа и слева сияли свежим пахучим тёсом приземистые бараки. Вдали виднелась конюшня, за ней другая, а за бараками, метров на триста, вплоть до кромки леса уже взялись молодой зеленью распаханые с осени поля.

За дверью барака резко пахло привычным едким настоем немытого потного тела и сырой несвежей одежды. Дежурный кинулся к Митрофанову с докладом, но начальник остановил:

— Хоть бы двери открыл, помещение проветри, скотина! Дышать нечем! — рявкнул Митрофанов. — Всё у печки сидишь, ёшь твою мать! Лето на улице...

Тесные нары из досок. Вместо пола горбыль, брошенный прямо на землю... Никитину знаком суровый уют лагерного барачного быта. Он знает и другое — что будет тут вечером после окончания рабочей смены, когда сотня измученных заключённых ввалится, чтобы забыться на несколько часов, свернувшись клубком и не чувствуя ни спины, ни рук. Каким станет воздух, пропитанный мокрой одеждой и обувью и сдобренный матом и махорочным дымом.

— В доме специалистов не так? — с усмешкой спросил Митрофанов. Никитин промолчал. «Благодарности ждёт», — подумал с досадой. — Не так, знаю, — продолжил начальник. И без перехода добавил: — Я ведь тебя, Лёша, что позвал? Отбываю через пару дней. Перевожусь.

— Куда?

— Далёко. Железную дорогу строить в Коми республике. Бумага пришла из центра, нужны добровольцы, опытные кадры. Вот заявление написал.

— А тут-то чего не работалось? Дело знакомое, уважают.

— Здесь недолго осталось. Потом в Дмитров, новый канал строить. А Дмитров под Москвой, туда начальство полюбит наезжать, контроли-

ровать и командовать. Там ухо держи востро! Знаю, проходил. Уж лучше подальше с глаз. Больше шансов уцелеть.

Среди дня в лагере спокойно. Размеренно тюкают топорами плотники на стропилах очередного барака у самого леса. Возле столовой ожесточённо скребёт громадный чан доходяга дежурный, очищая от пригоревшего после утренней готовки...

— Вчера к ночи с уполномоченным отвальную соорудили, — продолжил Митрофанов, понизив голос. — Выпили по-мужски, — всё как положено. Так вот. Ты, Никитин, мужик правильный, хочу напоследок предупредить: зуб на тебя имеется. Чей зуб, врать не буду, не знаю. Уполномоченный принохивается, копает и в дело подшивает. Застрять на зоне можешь надолго. И жена приедет очень некстати. Через неё тебя могут быстрее достать. Другого предупреждать бы не стал...

5

В оставшиеся полчаса-час до окончания работы Татьяна взяла журнал с новой повестью знакомого по редакции «Красной Карелии» журналиста Серёжи Хряпина, которую не успела докончить дома. Серёжа стал писателем и взял псевдоним Норин, чем вызвал грубоватые шутки коллег журналистов, мол, «мы тоже так иногда поступаем: хряпнул и в нору...». Она села в уголок поближе к печке, но читать не смогла. Мысли разбегались, и никак невозможно было сосредоточиться. И жалость, жалость подступила комком к горлу.

«Он ведь тут совсем рядом, — думала она о муже. — Километров двести, не больше. А кажется, будто на другой планете».

Как живёт без неё, что ест, о чём думает...

И стало так горько и за него, и за себя тоже, что невольно выкатились слёзы. Вспомнила детство и почему-то детские обиды, что впечатались в детское сознание и, как оказалось потом, во многом определили взаимоотношения с другими людьми.

...Вот она, наверное, четырёхлетняя, лежит в тёплой и уютной комнатке и готовится спать. Мама перекрестила на ночь её и брата, поцеловала и оставила с няней, молодой девушкой из

деревни. Прежде чем забраться под одеяльце, она встала в кровати на колени и, как учила мама, стала креститься и молиться на образок в изголовье. Вдруг няня подбегает и с силой тычет лицом в образок. От неожиданности и обиды она громко плачет: «За что, почему?» — спрашивает у мамы сквозь безутешные рыдания. Няню назавтра отпустили, а обида и вопрос остались...

И другое вспомнилось — как сама обидела младшего братика. У него был любимый платочек с дудочками, нарисованными по углам. Он ей тоже нравился, но братик никак не хотел отдавать. И однажды она платочек отобрала, силой, просто так. Как горько он плакал, маленький, обиженный, жалкий... И ей стало ужасно стыдно за себя, и она плакала тоже, плакала от нестерпимого стыда за свой поступок. И много позже, когда уж и братик давно позабыл о платочке, всякий раз, вспоминая об этом поступке, ей становилось горько и стыдно...

Она отложила книгу и села за письмо. Иные события вдруг пришли на память. Ей захотелось поделиться с мужем именно сейчас. «Это очень важно, — с волнением подумала она. — Я должна, я непременно должна!»

«Милый мой Андрюшенька! Помнишь наш отпуск на юге, в деревне, в горах? Там мне довелось пережить необычайное душевное состояние. Я не рассказала об этом тогда, просто не смогла, не сумела. А оно осталось, будто высеченное на сердце огненными письменами. Было так.

Однажды после разговоров с нашими замечательными хозяевами мне не захотелось возвращаться в дом. Ты помнишь эти душевные разговоры, в которых лучше всего узнаются родственные, близкие сердцу люди? Я села в саду на землю и, прислонившись к дереву, стала смотреть в бездонное тёмно-синее небо. Зажглись первые звёздочки. Наступила удивительная тишина. Смолкли цикады, не было ни малейшего шороха, ни звука, ни дуновения ветерка. Казалось, природа застыла в каком-то благостном покое, и покой этот постепенно сообщался мне.

Потом взошла полная луна, и всё заполнил её необычайно яркий голубой свет...

Представь себе: над всем миром разлился оке-

ан живого света. Никогда прежде я не видела ничего подобного. В волнах голубого света всё казалось таинственным и нереальным.

Я была как во сне...

Сколько времени прошло в блаженном покое, не помню, вероятно, много, потому что, когда я очнулась, луна стояла уже высоко. Всё было так невыразимо прекрасно. Мной постепенно овладевало непонятное волнение и восторг. Я уже не могла сидеть на месте и стала бродить по саду. Напряжение нарастало и нарастало, оно становилось мучительным. Нужно было что-то сделать, как-то его выразить, но как — я не знала. Я не могла понять, что происходит со мной, так как никогда прежде ничего подобного не испытывала. Хотелось слиться с этим живым светом, погрузиться в него, раствориться в нём...

Мною овладело какое-то исступление...

Я обнимала деревья, прижималась к земле, ласкала траву и цветы. Сердце то бешено колотилось, то совсем замирало. Казалось, душа хочет вырваться из тела, и стоит сделать только одно усилие, и она освободится, а за этим наступит блаженство и покой. Я чувствовала себя невыразимо счастливой, соприкоснувшись с какой-то тайной. И чувство это не имело ничего общего с тем, которое я испытывала прежде. До сегодняшнего дня мне не удавалось испытывать ничего подобного. И я не знаю, зависит ли это только от меня или, может быть, от особенного места, в котором хотелось бы оказаться снова.

Да, родной мой Андрюшенька, я очень, очень хочу испытать это ощущение вновь. Я очень хочу снова найти такое место на земле, где буду так же невыразимо счастлива. Знаешь ли ты, где найти такое место? Сумеешь ли отвести меня туда?»

Она отложила письмо и снова попыталась читать, но и теперь ничего у неё не получилось. Татьяна вытерла слёзы. О том, что случилось потом, после возвращения с юга домой, ей писать не хотелось. Потому что дальше была темнота, был арест...

На двери квартиры они обнаружили наклеенную бумажную ленту с печатью ОГПУ НКВД. У них в доме был обыск, и гепэушники оставили у соседей ордер на арест для Андрея. Они поняли, что час испытаний настал и для них и

нужно быть мужественными. Андрей позвонил по телефону, указанному в ордере. Ему сказали, чтоб захватил вещи и пришёл сам. Через несколько дней повестку принесли и ей. В повестке предлагалось явиться к следователю к 10 часам. Она решила, что следователь снимет показания и отпустит, поэтому взяла с собой только книгу. Но вышло иначе...

«...Пытаюсь читать Серёжину повесть про взорванные горы и не могу. Почему и он, и другие так плохо пишут о прошлом? А слова-то какие подбирает! Тут и чахлая сосна, и чахлый кустарник, и хилые огоньки деревни, и тёмные, сплошь неграмотные люди вокруг. Всё это только в первых двух абзацах.

Почему им, таким молодым и сильным современным людям, непременно хочется показать прошлое таким низким? Я этого не понимаю. Надеюсь, очень надеюсь, что нас соединят очень скоро и ты объяснишь мне эту странную тенденцию современной литературы. Ты ведь у меня умный. Правда, объяснишь? Договорились? Только не позабудь! И ещё. Получал ли ты известия от родителей? Где они? Что с ними? Узнаешь, непременно сообщи мне. Хорошо?»

В общежитии Татьяну встретила взволнованная Валентина Михайловна:

– Танечка, где вы были? Вас спрашивали...

– Кто же? Когда?

– Приходил человек из штаба. Завтра в шесть в восьмое отделение идёт машина. С машиной поедут трое вольнонаёмных, сопровождающий и вы. Вот и соединитесь. Как я рада!

Не в силах вымолвить слова, Татьяна замерла и, судорожно глотнув воздуха, словно перед броском в воду, кинулась на шею Лосевой:

– Дождалась, дождалась... Слава тебе, Господи! Боже, боже мой!

И обе залились слезами...

В эту ночь поспать им так и не удалось. Напившись чаю, прилегли и проговорили до утра.

Лосевых после ареста разбросали по разным лагерям: Валентину Михайловну в сибирские лагеря, в Боровлянку на Алтае, его в Свирьлаг, в Важины. Многих хлопот стоил её переезд на Беломорстрой. Теперь все усилия Валентины Михайловны и её родителей Соколовых в

Москве были направлены на перевод Алексея Фёдоровича на строительство Беломорканала. Дело осложнялось тем, что слабый глазами профессор Лосев стремительно терял зрение, «засаженный за канцелярию».

– Знаете, Таня, мне вдруг захотелось писать картины, причём красками, — сама удивляясь неожиданной для себя страсти, говорила Валентина Михайловна. — В тюрьме я вышивала картинки разными нитками. Посылала маме с просьбой переслать мужу. Не знаю, получал он или нет. Понимаю, картинки сделаны плохо, я ведь не умею по-настоящему, но уж очень хотелось выразить чувства, показать ему, поддержать.

Валентина Михайловна замолчала и долго смотрела в окно. За окном плыла по-над лесом лёгкая дымка белой ночи и заря уже показалась узкой багровеющей полосой к ветру. И, будто оправдываясь, продолжила:

– Особенно хотелось, чтоб мама переслала маленькую сумку, а на ней избушка у озера и одинокая, далёкая дорога к заходящему солнцу. На небе тихое золото, светлое, безоблачное... Но нитки плохие, нет подходящих цветов... Очень хочется выразить себя в искусстве, Танечка. Так много молчалось и переживалось внутри, что всё перекипело, сублимировалось во что-то иное, и теперь хочется выразить себя бурно... Не знаю, что с этим делать? Может быть, это ложно и блудно? Однако на сердце нет чувства, что плохо. Родина моя, куда же нас жизнь приведёт? Ни берегов, ни краёв не видно...

Под утро, когда и наговорились, и наплакались, Валентина Михайловна с неожиданной твёрдостью в голосе попросила серьёзно поговорить с Андреем:

– Таня, он у вас талантливый, я читала его статьи в библиотеке. У него будущее писателя. Но убедите перестать писать то, что он пишет теперь в газете. Он погубит себя. Большой талант не может стоять на обслуживании власти, это невозможно, это конец. Помните у Пушкина: «Уж лучше посох и сума...»

Ехали долго...

Казалось бы, почти лето, но всё, что видела она из кузова тряской полупорки, было безжиз-

ненно и серо: лента дороги в блестящих подмёрзших после ночного морозца луж, низенький лес по сторонам и болота, болота, болота...

Татьяна вспоминала бурный юг, поездки вдоль лазурного моря и горы, с которых водный и воздушный мир простирался перед глазами на невероятные, немислимые расстояния. Здесь же, с горечью думала она, природа скорее давит к земле, нежели дарит ощущение полёта. И только мысль, что скоро, ещё чуть-чуть, и дорожная пытка закончится, машина встанет у лагерных ворот и она наконец увидит его. Свершится то, чего так долго ждала, на что надеялась все дни и ночи их разлуки.

Она вспоминала рассказы Валентины Михайловны об этапах на Алтай, о тюрьмах и набитых людьми камерах и подумала вдруг, что, пройдя путь от Бутырок до Медгоры, с заездом на Нивастрой под Кандалакшей, где прожила четыре месяца, не смогла бы уцелеть, если бы не чувствовала небесной помощи в самые критические, отчаянные моменты. Вспомнила, как в маленькой камере, куда её поместили во время следствия, свободным пространством оказалась лишь табуретка у стены. Всё остальное было занято женщинами. Они сидели и лежали, некоторые заходились кашлем, бредили и металась в сильном жару. Наутро оказалось, что все они больны сыпным тифом...

Больных унесли, остальных отправили в баню, а вещи на дезинфекцию. И меховой капор, и рукавички, переданные мамой на свидании, пропали. Остались лишь лёгкая шапочка да большой шерстяной шарф мамы Андрея, Веры Георгиевны. Шарф оказался надушен прекрасными французскими духами и теперь путешествовал по камере. Каждая женщина хотела прикоснуться к нему и ощутить небесный, незабываемый аромат.

Закончилась осень, и незаметно, за одну ночь, наступила зима, и шарф в буквальном смысле спас её во время долгого этапа на Север.

А большая камера в пересыльной тюрьме, заполненная мужчинами...

Что стало бы с ней тогда, и подумать страшно. В камере были только две женщины: она и другая, задержанная за проституцию. Особенно приставал молодой парень, от которого она не знала, как отделаться. Уже было отчаялась, ре-

шив, что поспать ей сегодня не удастся совсем, как к ней подсел громадный татарин Шакир. Он поделился хлебом и сказал: «Не бойся. Со мной тебя никто не тронет». И всё равно она боялась так, что не сомкнула глаз за ночь.

...От железнодорожной станции до лагеря нужно было добираться три дня, с ночёвками в деревнях на полпути. Отобрали десятка полтора женщин, дали двое саней и мальчишку милиционера Сеню в качестве сопровождающего. А у неё шапочка, шарф и фетровые ботинки. Милиционер, замыкавший невесёлое шествие по снегу, сказал: «Гражданочка, в таких сапожках только в городе ходить. А в поле снегу по колено. До ближайшей деревни не дойдёшь, как без ног останешься». И разрешил сесть в сани.

В деревне хозяйка положила ночевать на печь. Среди ночи почувствовала, кто-то забрался на печь и крепко обнимает. Оказалось, Сеня пришёл требовать «благодарности». Спасло то, что печь оказалась узка и во время борьбы она свалилась на лавку, что стояла рядом...

Утром заявила милиционеру:

— Пойду вместе со всеми.

— Почему?

— Потому что даром пользоваться снисхождением не хочу, а благодарить так, как хочешь, не могу.

— Ну и замерзай, — ответил Сеня, — раз такая гордая!

И почти сразу она стала отставать. Идти тяжело, и ботинки постоянно забивались снегом. Вначале лошадей и заключённых ещё можно было видеть, но потом по обочинам появились кусты, дорога свернула в лес и она осталась одна среди невообразимого снежного пространства.

А день выдался чудесный! Светило яркое солнце. На ослепительно белом снегу лежали синие тени от придорожных кустов. Но мороз и мокрые ноги делали своё дело — она начала замерзать.

«Буду идти, пока хватит сил, — думала, будто в забытьи. — А потом сяду на снег и замёрзну. Говорят, это лёгкая смерть. Перед ней снятся чудесные сны».

И вдруг ей стало так горько и жалко себя, что невольно потекли слёзы. Слёзы вытекали и замерзали, превращаясь в капельки льда, едва докатившись до подбородка. Всё существо проти-

вилось смерти. Она стала думать, что такой конец невозможен, нелеп, если уже она перенесла столько испытаний и тягот. Разве можно! И заставляла, заставляла себя идти, хотя ни ног, ни лица уже не чувствовала...

Партия заключённых поджидала её в деревне. У крыльца хрупали сено заиндевелые кони. В избе натоплено и вкусно пахло варёной картошкой. Она не помнит, как её раздели женщины, как оттирали окоченевшие и нечувственные ноги. Очнулась только от горячего чая и Сениного бормотания, что виноват, что ругал себя и что она «зазнобила его сердце».

— К лагерю подъехали поздно вечером. Пока охрана, недовольная, что её побеспокоили в неурочный час, переругивалась с сопровождающим, Татьяна огляделась. Русло реки, запруженное плотиной в полутора километрах выше, глинистое, даже с виду липкое, грязно-серое пространство бывшего дна на сотни метров вокруг, горы взорванного камня...

Картина показалась ей привычной, не раз виденной на Водоразделе. На другой стороне, где теперь, видимо, намечен берег канала, она увидела ряды бараков и лагерных построек в строгой геометрии полей и дорог. Где-то там её ждал муж...

«Скорей, скорей, что вы копаются, — мысленно поторавливала она охранников. Ей хотелось громко кричать: «Андрей! Андрюша! Где же ты? Я приехала! Я рядом!»

Старший смены, молодой офицер, повёл женщин к баракам, потом разделил группу и указал Татьяне на домик в отдалении:

— Вам туда. Там лазарет и комната при нём. В шесть подъём. На разводе определяют рабочее место.

— Можно узнать, где живёт заключённый Андрей Никитин?

— Узнаете завтра. В ночное время ходьба по лагерю запрещена под угрозой штрафного изолятора.

На стук открыла девушка. Она будто бы ждала. Молча, по-хозяйски, налила в рукомойник свежей воды умыться с дороги, расстелила бумажную скатёрку и выложила весь свой запас — немного хлеба, кусочек варёной трески, налила тёплого чаю.

От дорожной усталости у Татьяны кружилась голова. Она прикрывала глаза, и алюминиевая кружка на столе, и печь, и лицо новой соседки Вари начинали медленно уплывать куда-то вправо и вниз.

Силы у неё закончились...

Как ждала она встречи, как мечтала, что увидит и побежит, бросится на шею...

А вышло по-другому. В последний момент подумала, какая она жалкая сейчас, в этом замызганном, потерявшем цвет пальтеце, которое весь последний год служило и матрацем, и одеялом, и пледом, и ещё чем только возможно на этапах и пересылках. И какая же она некрасивая! Что осталось от женщины, которую видел он в последний раз?

Ей захотелось убежать, спрятаться...

«Господи, Господи! — думала она в панике. — Что же мне делать? Как же мне быть?» И снова захотелось плакать. Но она сдержалась, ежеминутно сглатывая ком, подступивший к горлу. А когда он вошёл, уже ни о чём не думала. И не говорили они ни о чём, а просто стояли, тесно прижавшись друг к другу, и молчали...

Было тепло и тихо. Ночами ещё холодало, и с вечера дежурный подтапливал печи в лазарете и у них в комнатке. Они лежали и снова привыкали друг к другу. Он тихонько убирал её прядки за ухо и медленно проводил пальцами по ключицам. Прядки снова падали на висок, и он снова их убирал.

Ей было стыдно за своё тело. Она всё время пряталась у него на груди, всё больше сгибаясь в его руках, будто хотела свернуться ёжиком и уползти к животу, в колени.

— Совсем ты у меня исхудала, — говорил он радостно и тихо. — Ну разве так можно? Молодая, красивая, а так довела себя, а?

Она виновато вздыхала где-то внизу и ещё больше уползала к животу, пряталась.

— Вот и вместе. Теперь заживём. Да, счастье моё, заживём, — приговаривал он почти шепотом, и сердце его разрывалось от жалости и бессилия. — Теперь-то мы друг от друга никуда, — шептал он и чувствовал горячие капельки у себя на груди. — Не надо. Что теперь? Новая жизнь у нас. Радость...

Ожидания Андрея не сбылись. Он думал, теперь будет рядом с женой, по мере сил станет опекать её, но у начальства на Татьяну обнаружили свои виды. Она оказалась весьма полезным работником и с раннего утра и до позднего вечера пропадала на строительных площадках. В сопровождении одного-двух рабочих-нивелировщиков Татьяна спускалась в котлованы, бродила среди обломков взорванных скал и по жидкой грязи, что-то высчитывала, изредка бранилась с бригадирами и к ночи возвращалась в свою комнатку без сил, измотанная и зачастую голодная.

Новый начальник лагпункта Егоров, высокий, худой, всегда с поджатыми губами, решения Митрофанова не отменил и оставил Никитиных на жительство в отдельной комнатке. Но было заметно — приглядывается, думает: мол, у предшественника льготы заработали, а вот у меня посмотрим...

Егоров из прокурорских, они ведь убеждены, что всегда правы и что их призвание сводится к одному — судить обо всех и обо всём. С отъездом Митрофанова его перевели со второго отделения-командировки этого же лагпункта. Он просто перешёл через дорогу.

Никитин видел, как это было. Двое заключённых тащили за ним ободранный чемодан. Чемодан тяжёлый, и Никитину было интересно, чего же он туда сложил, может, книги? Обессилев, эски поминутно ставили чемодан в грязь недостроенной плотины и присаживались на него отдохнуть. Егоров оглядывался и устранял это безобразие с помощью длинных матерных тирад.

«Нет, не книги», — почему-то подумал Никитин. И у него испортилось настроение.

Со штабными работниками Егоров познакомился просто и коротко. Всех собрали в большом кабинете УРЧ, Егоров вошёл, постоял, оглядывая ряды медленным и тяжёлым взглядом, и заявил, делая долгие паузы между рубленых фраз:

— Чтоб у меня! Спрошу! Иначе всех в котлован!

И с этим удалился, приказав работать.

Никитину новый начальник уделил больше внимания.

— Митрофанов говорил, в Москве блат имеется. Моисеева вон посадил в управление, он

теперь замУРО, большой начальник. Я тоже в Москве кое с кем корешился, но теперь вот здесь подзастрял. Я, Никитин, ломать ничего не буду. Работай. И жене твоей не помешаю, пускай крутится. Я посмотрю пока, пригляжусь...

— А как Митрофанов? — спросил Никитин. — Вестей от него нет?

— Какие могут быть вести? Прибыл, наверное, к новому месту службы. Объект принимает.

Никто из них не знал, что бывший начальник лагпункта Беломорстроя Митрофанов в эти минуты лежит в штабном вагончике посреди тундры. Вагончик замер на железнодорожных путях недостроенной ветки на Абезь, а его новый хозяин корчится на куче грязной спецодежды третьего срока с заточкой в груди и в смертной тоске смотрит остановившимся взглядом на заляпанный бурными кляксами потолок. Заточка вошла ниже сердца, поэтому он не умер сразу и теперь всё реже и реже скребёт сапогами по грязному полу, остатками сознания понимая, что ещё полминуты, и всё...

Митрофанова признали бывшие знакомцы по милицейскому делу, уголовники. Узнали и зашли поприветствовать земляка, пока конвой строил прибывший этап для следования в зону.

6

Тренькала о тяжёлый подстаканник ложечка, мягко постукивали на стыках за вагонным окном колёса. Молодой кряжистый мужчина в гимнастёрке дорогого габардина, с орденом Красного Знамени и в ремнях, смотрел на пролетающий лес равнодушным взглядом и тихо улыбался уголками губ. Смотреть за окном было не на что. Весна уже закончилась, а лето так и не наступило: серо, голо, низко. Это не родное Забайкалье, не центральная Россия или Узбекистан, и даже не Дальний Восток. Где он только не побывал к 34 годам и чего только не повидал! Теперь придётся узнать ещё и Карельскую республику...

В дверь купе постучали. Помощник чуть отодвинул створку двери и спросил из коридора:

— Товарищ Берман, может, ещё чаю?

За спиной помощника он увидел бледное лицо проводника и слегка кивнул.

Офицер открыл дверь, и проводник быстро заменил пустой стакан полным.

— Когда будем в Медгоре? — спросил у проводника.

— К обеду должны быть, товарищ Берман. Как есть к обеду будем, — торопливо ответил проводник и, пятясь, вышел. — Там и пообедаете. У них при вокзале добрый буфет есть, — сообщил уже из коридора.

«Да, мне теперь только по вокзальным буфетам и околачиваться. Чудик какой...» — подумал он о пожилом проводнике без злобы. Он отставил стакан и достал из портфеля бумаги.

Уже полгода в Карелии шло большое строительство, и ему хотелось самому посмотреть, что и как здесь устроено в организации производства, быта и обеспечения охраны. Заключённых гнали и гнали со всей страны, и лагерь разрастался до невиданных прежде пределов. Но ведь надо понимать, что две сотни с лишком километров стройки не обнесёшь колючей проволокой и вышек не понаставишь. Если опыт Беломорстроя удастся, это даст такой эффект, что в Кремле ахнут! И подумают, какое правильное решение приняли созданием новой структуры и с назначением в руководство именно его, Бермана Матвея Давыдовича.

Новая структура называлась Главным управлением лагерей ОГПУ НКВД СССР — ГУЛАГ.

Берман полистал бумаги: сводки, сводки, графики, таблицы... Сотни тонн взорванной скалы, кубометры грунта, тысячи заготовленных и вывезенных с делянок брёвен...

Он отложил бумаги на край столика. Не это ему интересно. Пусть с кубометрами и брёвнами разбираются другие. Он не проверяющий. Его интересуют люди. Кто поставлен руководить производством и людьми? Есть ли у них стимулы, в чём их обнаружить? И что необходимо предпринять ещё, чтобы сроки строительства ни в коем случае не были сорваны.

Он, Берман, наделён громадными полномочиями: любой наркомат, любое ведомство разобьётся в лепёшку, но выполнит заявку от строительства Беломорско-Балтийского водного пути. Но и к ходу работ не должно быть претензий. Вот главное. За этим пристально следит Сталин.

К своим годам он теперь не только чекист,

опытный борец с вредителями, но и серьёзный хозяйственник. Вероятно, в Кремле учли опыт работы заместителем председателя Совнаркома Бурят-Монгольской АССР и руководителем Госплана там же. Да и работу членом ЦИК Узбекистана нельзя скидывать со счетов. Всё это дела крупного масштаба. Есть и другие. Активное участие в расследовании «Шахтинского дела» помогло вникнуть в производственные взаимоотношения на самом низовом, бригадном уровне...

Да, на Донбассе пришлось копать глубоко. Он помнит дрожащие руки рабочих и бригадиров с вьёвшейся навечно угольной пылью, неумело подписывающие показания на инженеров. Всех изобличили и вымели стальной метлой! И это учтено при назначении. И теперь он обязан доказать, что кремлёвское руководство в очередной раз в нём не ошиблось.

Да, ему известна серьёзная проблема в его ведомстве, пока малочисленном. И проблема эта — уровень образования кадров. Как с ними говорить и о чём, если они в большинстве элементарно неграмотны?

Берман ищет среди бумаг нужную, вот она: 73 процента сотрудников с низшим образованием. Каким образом такой сотрудник сможет убедить матёрого инженера, помнящего царские порядки, работать не покладая рук? С помощью кулаков и нагана? Это не всегда срывается — ему известно по собственному опыту...

«Но ничего, это детали, разберусь и с ними, — успокоенно думает Берман. — Одно ясно точно: работать предстоит много. И другим спуску не давать. И не забывать никому и ничего».

А уж это он умеет...

Берман прихлёбывает горячий чай, расслабленно откидывается на вагонную подушку. Вспоминаются юность, лето 17-го, Чита, золотая медаль коммерческого училища, — он окончил курс среди лучших учеников, по первому разряду, — счастливые лица родителей...

Как давно это было! Сколько воды утекло! Как он был молод!

Ребята их марксистского кружка собирались у Меера Трилиссера, самого опытного из них. А ребята-то всё молодняк, один энтузиазм в глазах. Ильмар, Дитман, Рабинович, Нейбут... «Мы поднимем Сибирь!» «Мы тут такого зададим!» Меер успокаивал: «Не надо,

ребята! Давайте без этих буржуазных прожектерских замашек!»

Решали: нужно проникнуть в военную среду, стать своими среди солдат, чтобы повернуть внешне сильную, но идеологически беспомощную массу на свою сторону. Но как это сделаешь? И ведь придумали. Берман и ещё несколько ребят из комитета поступили в Иркутское военное училище. Берман вообще без вступительных испытаний, — он же отличник! Всех знакомых удивили! Но четыре месяца учёбы дались большим напряжением. Трудна оказалась не учёба, учёба-то привычна, а вот повседневная юнкерская жизнь...

Как же их невзлюбили здесь! Даже побить собрались однажды. Только вот не получилось, вовремя удалось скрыться. Он вспоминает свистящий шепот за спиной в казарме: «А что в русской армии нужно этим жидам? Зачем еврею офицерские погоны, Отечеством торговать?»

Нет, не забыл. И когда в Иркутске поднялось это глупое и плохо организованное восстание юнкеров, они дали себе волю! Эти глупцы предпочли не срывать погон, как это сделал он, а лечь под орудийные залпы. Ещё кричали что-то про офицерскую честь. Какая там честь! Никто из них ещё и офицером-то не успел стать. Мальчишки!

— Много, много событий пришлось пережить. Время такое, борьба за себя в будущем, за новую страну, бой без сожаления и жалости! Всё так, но расстрел безоружных ровесников до сих пор сидит в душе занозой. Уж больно кроваво вышло тогда и беспощадно...

В Медвежьей Горе задерживаться не стали. Что там смотреть — бараки при станции, другие за проволокой, лагерные. Каменные здания громадной гостиницы и управления строительства только строились. Покатали прямо в Повенец, в контору Белбалтлага. В комнатке при кабинете Коган уже накрыл стол. Тут и коньяк, и рыбка, и копчёное мясо со слезой, и свежие овощи из теплиц.

— Приглашаю, Матвей Давыдович. Покушаем. С дороги, да и день впереди долгий. Силы потребуются.

— Можно, Лазарь Иосифович. Если делу не помешает, — сразу поставил границу взаимоот-

ношений Берман. Мол, едим-пьём, но кто есть кто, забывать не следует.

Отношения между ними давние и вполне приятельские. Правда, в последние дни немного странные, определённой привычки требуют. До недавнего времени Коган формально считался начальником ГУЛАГа и одновременно руководил Беломорстроем в Карелии. Берман был его заместителем и жил в Москве, по существу, управляя всеми делами ведомства. Несколько дней назад их должности поменяли, и Берман теперь полномочный начальник над Коганом, а тот его заместитель в ГУЛАГе и продолжает руководить строительством канала.

В новом качестве Берман приехал познакомиться с расстановкой кадров и ходом дел. А из произошедшего мораль простая: коли ты начальник, не отлучайся надолго от руководящего кресла. Среди друзей непременно найдётся такой, кто захочет его занять.

Выпили по первой, закусили. В Управлении непривычно тихо для рабочего дня. Конторские, девяносто процентов которых из заключённых, есть и дворяне, и доктора наук, и профессоров человека четыре, знают, что приехало начальство. Они люди опытные, стараются сидеть не поднимая головы и без крайней нужды не показываться в коридоре. Мало ли что может случиться, если столкнёшься нос к носу: что могут спросить и куда послать...

— Могилко, Вержбицкий, Жук, Афанасьев, Успенский... Что за люди? Как показывают себя? — интересуется Берман. — Ты же понимаешь, Лазарь, времени на эксперименты с кадрами в Кремле не дадут. Стройка идёт полгода, и мы должны поставить людей, которые смогут её ударно довести до конца.

— Матвей, Матвей Давыдович, разве ж я не понимаю? В руководстве стройкой народ надёжный. Могилко, Вержбицкий, Жук, Афанасьев из опытных инженеров. Они зарекомендовали себя на строительстве оросительных систем на юге и здесь начали очень хорошо. Других таких не сыскать. Да и Френкель держит их крепко, дремать не даёт.

— Миллионы рублей убытка стране принесли на юге — так зарекомендовали, что лучше некуда. Ты что, их дел не читал?

— Миллионы или не миллионы, а понадобится

лись в Карелии, и вот они здесь, правда, с 58-й, часть 7 «вредительство». Партия поставила перед ОГПУ задачу построить канал, и что, уговаривать их прикажешь сменить тёплый юг на холодный север за ту же зарплату? Теперь работают и зарплаты не просят.

— А Успенский?

— Успенский из наших...

Берман отложил вилку и посмотрел Когану в глаза долгим взглядом.

— Я хотел сказать, из наших бывших сотрудников, совершивших преступление перед государством. Исправляется.

— У меня целая папка на него. Как он исправлялся на Соловках. — Он дотянулся до портфеля на соседнем стуле, вынул бумаги. — Вот: «...Каждый мой доклад гр. Успенскому заканчивался обещаниями: пристрелить на месте, застрелить как собаку, раздавить...» Или его заявление, полюбуйся: «Нормы устанавливаю я, а не для меня устанавливаются нормы...» Чуешь, на что замахивается? Вот другое, полюбуйся: «...всех терроризировал словами: «посажу и расстреляю!» И ведь сам расстреливал, есть свидетельства. Он и здесь себя так ведёт?

— Нет, товарищ Берман. Я таких сведений не имею. Мы поручили ему северный участок строительства. Самый отдалённый и тяжёлый по причине отсутствия дорог и трудностей со снабжением. Да, работает жёстко. И по бабам ходок, знаем. Но мы контролируем, держим его в руках.

— Может, заменить, пока не наделал дел?

— Прикидывали. Некем. Инженеры второго ряда хорошие, но тут ведь администратор требуется, чтоб спрос был настоящий.

Он снова налил коньяку, они выпили, и Коган продолжил:

— Иначе ведь работать не заставишь, да и порядка не будет. С кем работаем? Уголовная шпана, контрики... Слабину почувствуют — трудно остановить. А из бывших наших кадра подходящего нет. Предлагаю оставить пока Успенского. На ваше усмотрение, конечно.

— А бабы прокурорам малявы строчат? С бабами-то как?

— Да нет, не пишут. Бабы, они ведь на то и бабы...

— Хорошо, пусть работает. Но глаз с него не спускать.

От Онежского озера вверх на материк ведёт широкая просека. Просека будто живая, шевелится, кипит. Полчаса едут, час, просека всё колыхнется мокрыми спинами застиранных гимнастёрок и пепельно-серых рубашках. Изредка видны группки людей на обрывах, видно, какое-то мелкое начальство. Стоят, что-то прикидывают или бранятся — руками машут, с дороги не разобрать. Возле одной хотели остановить машину, но Берман ткнул Когана в спину: не надо, поехали дальше...

В одном месте дорогу преградил вохровец с винтовкой: будут взрывать. Взыла сирена, грохнули взрывы. Из разных щелей и ближайшего леса в котлован побежали десятки рабочих. Снова в руки тачки и кувалды — вывозить обломки помельче и долбить те, что в тачки не помещаются.

У противоположного края котлована, под обрывом, Берман увидел странное: двое заключённых подхватили кого-то за руки и за ноги и несут в сторону.

— А там что?

— Бывает, Матвей Давыдович. Рабочий момент. Видать, какой-то лентяй решил не выходить из котлована от взрыва и неудачно спрятался. Пересажу, мол, что зря бегать. Бывает, взрывники ошибутся. Каждый день не по одному хоронят.

Берман нахмурился, видно, хотел сказать что-то, но так и не нашёлся, смолчал. И ещё с минуту-другую сидел молча, придумывая, как сказать, чтоб поаккуратнее с рабсилой. Инструктаж там провести какой, учёбу, иначе ведь людей не напасёшься на эдакое-то строительство. Однако ничего умного не пришло ему в голову.

Над очередным котлованом увидели не группку, а одного-единственного человека. В длинном кожаном пальто, опершись на тонкую трость, человек неподвижно стоял и смотрел вниз. Берман тронул водителя за плечо: подъедем.

— Френкель, — узнал издалека Коган. — Уже за был, наверное, в какую сторону дверь в своём кабинете открывается. И днём и ночью на линии.

Едва поздоровавшись, Френкель указал Берману в котлован:

— На восточной и на западной стенках две одинаковых бригады выбирают грунт. Видите?

Берман кивнул.

— Смотрите на отвалы там и тут. Одна бригада явно отстаёт. Мало того, сейчас три часа пополудни, а люди в отстающей бригаде — выкатчики с тачками и крючники — уже еле ноги таскают. В чём дело? И ведь так они работают уже четвёртый день.

Берман и Коган смотрели на копошение заключённых внизу и молчали. Коган здесь никогда не останавливался, а Берман вообще впервые видел, как роют канал.

— Водитель, — приказал Френкель заключённому в машине. — Позовите начальника участка.

Вскоре прибежал запыхавшийся начальник. Сапоги и брюки в пыли, но гладкое лицо выдавало отнюдь не заморённого человека. Маленькие острые глазки начальника панически бегали от одного к другому, и сам он явно не ждал ничего хорошего для себя.

— Почему одна бригада выкатчиков уже четвёртый день отстаёт? — тихо спросил Френкель.

— Виноват, гражданин начальник. Там одни филоны собрались. Я приму меры. Мы поправимся.

— Какие меры?

— Переведу зачинщиков и лодырей в БУР. Пусть поголодают.

— Барак усиленного режима, конечно, умное решение, — усмехнулся Френкель. — Но дела не исправит. Три дня назад я указал вам причину отставания, — всё таким же тихим голосом продолжал Френкель. — Напомню. У одной бригады мостки делают дополнительное колено — видите, вон там; поэтому угол наклона настила меньше и выкатчикам легче везти тачку наверх. У другой бригады дополнительного колена нет, сэкономили десять досок, и теперь подъём здесь крут, они у вас выдыхаются за три часа. Почему вы не устранили этот недостаток? Почему не выполнили распоряжение начальника работ?

Френкель говорил спокойно, ровным голосом, чуть не ласково, и от этого слова звучали особенно угрожающе. Если бы он кричал, как принято здесь повсюду, дело казалось бы при-

вычным. Ну, покричали, и ладно. С кем не бывает. Но Френкель не кричал. И ещё эти люди в гимнастёрках и ремнях, видать, большие командиры...

Первым не выдержал паузы Берман. Едва сдерживаясь, резко обрывая слова, чтобы не перейти на крик, приказал Когану:

— Начальника участка отдать под суд. Как саботажника и вредителя. Сегодня же. Вменить дезорганизацию производства. Сюда же попытку срыва сроков ввода важнейшего государственного объекта. Начальника отделения строительства немедленно арестовать. Десять суток за отсутствие контроля на вверенном объекте. Перевести в бригады. Не дело товарищу Френкелю заниматься ещё и устройством трапов. У него стройки на 200 километров.

— Граждане начальники, я всё исправлю, прям тут, при вас, мамой клянусь, — лепетал бывший уже начальник участка. — Куды же мне новый срок, энтого ещё шесть лет тянуть. Да я, да мне...

Никто его не слушал. Да и не видел уже никто. Будто и не было его вовсе на этом свете...

С эпизода в котловане Берман и начал назавтра совещание с руководством в конторе Беломорстроя. После позднего ужина, неожиданно для Когана напряжённого, наполненного тяжёлым молчанием, которое не развеялось даже после бутылки армянского коньяка, Берман ушёл отдыхать в служебный номер, зачем-то прихватив с собой подшивку лагерной газеты «Перековка».

«Зачем она ему? — с тревогой подумал Коган. — Вроде устал, да и выпили. Неужели задумал чего?» И полночи крутился под простынёй, гадая, чем обернётся визит московского начальника для них здесь на канале. Но ничего опасного для себя угадать так и не смог.

На совещание Берман пришёл с подшивкой в руках. Пока ответственные по направлениям работы бодро докладывали об успехах на вверенных участках строительства, Берман задумчиво смотрел в окно.

Готовясь к поездке в Москве, он прочитал, что прежде Повенец был городом, причём достаточно крупным по местным меркам. Из Повенца начинался торговый путь на юг, к

столице, и в центр Российской Империи. С началом зимы, когда северные реки и болота закрывались льдом, сюда съезжались до двух тысяч подвод с товаром. Ждали, когда замёрзнет Онежское озеро и откроется путь на Вознесенье, к Свири и далее к Петербургу.

Берман представил себе бурлящие народом улицы, переполненные ночлежниками дома, бойкую торговлю, буйство гулянок по вечерам. Теперь Повенец малолюден и тих. Из окна открывалось громадное водное пространство озера, какая-то рыбацкая лодчонка барахталась возле берега, единственная на всём этом громадном пространстве.

«Спит Повенец, — подумал Берман. — Спит страна. И как можно не восхищаться прозорливостью товарища Сталина, принявшего такое важное решение — открыть путь на Север, — думал Берман. — И как можно не понимать важность этого пути для укрепления страны? Не понимать и даже мешать Сталину? Нет, наше большевистское дело — помочь разбудить эту страну. И мы её разбудим! А всех, кто будет мешать на пути, безжалостно сметём железной рукой!»

Берман оторвался от окна и оглядел собравшихся в кабинете. «... тысяч кубометров скалы и грунта поверхностных пород, сотен тысяч кубометров ряжей...» — услышал он слова доклада очередного руководителя.

«Что они мне всё долдонят про эту кубатуру, — подумал Берман. — Наверняка врут. Им врут, они врут мне. А точные результаты работы знают только бригадиры, которых на совещания не зовут».

— Знаете что, — начал Берман, не дослушав доклада. В кабинете мгновенно воцарилась чуткая напряжённая тишина. — Партии нужен канал, а не ваша кубатура. Канал во что бы то ни стало! Надёжный, простой и дешёвый. Кубатуры может быть много, но если канала вовремя не будет, знаете, что тогда станет с вами? Не знаете? Даже в Москву не повезут, положат тут же. Мы там неплохое место проезжали, километрах в пяти-семи. С лесочком. По личному указанию товарища Сталина. Кстати, как это место называется?

— Урочище Сандармох, товарищ Берман, — сказал кто-то.

— Вот, вот, в урочище Сандармох и положат. А

чтобы не случилось этого, нам всем нужно...

И рассказал, что вчера посетил линию строительства до Водораздела и готов сделать вывод, что организация работ безобразная. К примеру, из-за неправильного настила бригада выкатчиков за неделю потеряла выработки за целый день. А что бригадир? А где мастер с начальником участка? А где начальник отделения? Один Френкель за сотнями бригад не уследит. И не Френкеля это дело оценивать качество настилов. И главное: кто поставил на блатные хлебные места неквалифицированных, беспомощных и бесполезных, с кого сейчас спрос?

Тишина наступила гробовая...

«Сейчас спросит, а что делает начальник Беломорстроя? — с замершим сердцем подумал Коган. — Он начальник строительства, а слышал ли что-нибудь про работу с кадрами, или ему рассказать?»

Когану было кого бояться...

До назначения в ГУЛАГ Коган занимал должность заместителя начальника Особого отдела НКВД. Святая святых ведомства. И уж он хорошо знает нрав «единственного знатока работы на восточных границах» Бермана Матвея Давыдовича, читал его личное дело. Тогда, в конце 20-х, Берман по приказу своего начальника Бельского в неделю провёл зачистку от басмачей громадных территорий на юге страны. Всех поднял — местных чекистов, части РККА, местные полки НКВД... Только кости хрустели! А на 10-летний юбилей ОГПУ к именному маузеру с гравировкой: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией» Берману вручили ещё и орден. Поэтому, когда через год ОГПУ вскрыло заговор «бывших» в каменноугольной промышленности Донбасса, Матвей Берман без особого труда выявил вредителей, получив в служебной характеристике к определениям «единственный знаток» и «практик марксизма» лестную аттестацию: «Совершенно оформившийся оперативный руководитель, эффективен, способен как администратор и организатор».

«Этот может», — тоскливо думал Коган, сидя сбоку от Бермана и ожидая, куда повернётся разговор в следующую минуту.

Начальника Беломорстроя Берман не вспомнил, заявив, что впредь за недоработки и за-

держки темпов на уровне бригад и выше наравне ответят вышестоящие начальники и что у всех есть ровно неделя, чтобы «перетрясти кадры».

Пока собравшиеся приходили в себя от свалившейся на их головы новой административной напасти, Берман полистал подшивку «Перековки», что-то там нашёл и продолжил:

— Матюгами и БУРаи неграмотную рабочую массу не мобилизовать, это правда. А мобилизовать надо. Но вот этим, — он потряс подшивкой, — тоже едва ли. Какой болван заполняет газету одними цифрами и сводками? Думаете, рабочий придёт в барак после 12 часов котлована и газетку с цифрами читать станет? Он же не в конторе отсидел. Да читает-то по слогам...

— У нас в каждом бараке активисты, — пояснил кто-то. — Назначен час вечером, когда устраиваются коллективные читки...

— А читают-то что, сводки вывозки грунта за неделю?

Желающих пояснять больше не оказалось, и Берман продолжил:

— Единственный матерьял нашёл здесь, который может увлечь людей на великое дело строительства водного пути и нового социалистического государства рабочих и крестьян. Замечательный матерьял! Вот:

«Тёмная ночь. Мобилизованы все силы. Весь лагерь — на перемышке Вереницы грабарок подвозят грунт, наполняем мешки, сбрасываем их в во всё расширяющийся прорыв...»

Это об аварии на Хижозерском водохранилище. Смотрю, кто написал? Женщина-прораб, инженер. Она, значит, сутки отработала, мобилизовала людей, а потом села писать об этом в газету. А работники газеты где были? Спали в тёплом бараке, сводок ждали? А писатели где? Кто у нас из учётно-распределительного отдела? Что, УРО дельного журналиста или писателя найти не может? 150 тысяч народу вам собрали, и ни одного дельного для газеты? Если нет, дам команду — завтра привезут хоть десяток, хоть два.

— Замначальника УРО Моисеев, — встал коренастый управленец с усами, подстриженными «под Френкеля». — У меня в восьмом отделении есть журналист и писатель — Андрей Никитин. Замечательные статейки писал.

— Тогда что он делает в восьмом отделении, когда позарез нужен здесь?

— Начальник лагпункта Егоров сообщает, что Никитин писать отказывается.

— Как отказывается? Это что такое? Заключённый, и отказывается?! Что у него?

— 58-я, 10.

— Интеллигенция. Наболтал. А если ему ещё саботаж добавить, может, запоёт по-другому?

— Товарищ Берман, разрешите доложить? Никитин у нас в ИСО* в разработке. Скрыл на следствии участие в вооружённых тайных отрядах, так называемых скаутов. Подельников арестовали, а этот скрыл и прошёл по другому делу.

— Почему до сих пор не взяли?

— Разрабатываем, есть сигнал: в лагере готовит организованную группу. Надеемся взять всех.

— Сколько времени уйдёт на это?

— Вы знаете, с каким контингентом придётся работать. Месяца два.

— Месяц. Через месяц Никитин должен быть здесь. С новым сроком или со старым, но здесь...

7

Заключённый Никитин вторую неделю ночует на старом месте в бараке за выгородкой. Комнатка в доме специалистов срочно потребовалась Егорову для своих нужд. Он дважды вызывал Никитина и вначале говорил мягко:

— Надо бы дать матерьял про наши дела тут, надо. Там просят, — и он указывал на юг, в сторону далёкого Повенца. — Ты ведь умеешь, чтоб так — э-эх! Народ поднять на большевистское дело!

И показал левой рукой снизу вверх, будто выполнял апперкот в челюсть. Правой рукой Егоров так не сможет. Она у него порезана. Говорит, белые рубанули шашкой в Гражданскую. В это никто не верит. Какой с него вояка-кавалерист. Скорее, в пьяной драке по молодости.

Потом терпение у него кончилось и уже с матюгами не просил — приказывал:

— Я тебе кто, вошь барачная? Я тебе гражданин начальник! Так иди и исполняй, а то загремишь в БУР, ты понял?!

* ИСО — информационно-следственный отдел.

– Своё дело в штабе я делаю, гражданин Егоров, – пытался урезонить Егорова Никитин. – Претензий ко мне нет. А писать статьи буду на воле.

– Не скоро ты на волю попадёшь, писатель. Обещаю, – огрызнулся Егоров. – И в штабе ты, смотрю, засиделся.

Вскоре начальник отдела объявил, что со дня на день грядут перемены. На объектах отделения наметилось отставание, и теперь планируют некоторых более-менее свободных сотрудников направить из штаба в линию на усиление. Никитин понял, что он и есть тот самый свободный и на работы в котлован будет назначен именно он.

Так и случилось ровно через три дня. Теперь Никитин прикреплен к участку, который готовит котлованы под монтаж ряжей. Ряжи – это жёстко скрепленные меж собой клетки из сосновых брёвен, скелет гидросооружения. Они устанавливаются вдоль шлюзовой камеры и в будущем составят её стенки. Ряжевые конструкции монтируют строго в размер и заполняют камнем и грунтом.

Работа тяжёлая и – главное – точная: шлюзовая камера не должна быть кривой и шире или уже проектной. Никитину как раз и поручено отвечать за точность. А это, сообщили в первый же день заключённые в котловане, дело рискованное: чуть что, и ты сразу становишься вредитель и саботажник. Со всеми вытекающими из этих определений неприятностями.

– Ничего, родной, потерпи, – говорила ему тихо Татьяна. – Другие работают, и ничего, и мы сможем, так ведь?

Он подождал её вечером после ужина, проводил к больничке. Теперь они лежали рядом, отдыхали.

– Ты правильно сделал, что отказался от газеты, – шептала она ему в ухо и гладила жёсткими подушечками пальцев по губам. – У тебя жизнь впереди, творчество, книги. Зачем тебе мараться, – говорила усыпляющее. Но вдруг резко приподнялась на локоть и стала говорить горячо.

– Многим за сотрудничество с ними будет стыдно. Потом. Многим. Я ведь тоже не понимала сначала. Да, да! Спасибо Валентине Михайловне. Мы с ней много разговаривали, и я

согласилась: да, да, будет такое время, когда станет стыдно! Они ведь не на век пришли. Разве могут люди терпеть их целый век? Нет, не могут. И нельзя. Я в этом теперь убеждена...

– Ты же видишь, какая это силища? – говорил он. – Причём тупая, необразованная, жестокая. Встретил в деле одного заключённого резолюцию Харьковского ЧК. Не поверишь: «Содержать под арестом до выяснения причин ареста». И ведь какой массой манипулирует! И что за сила потребуется, чтобы сместить их.

– Вижу, конечно, вижу. Но сила такая найдётся, я верю. Лосевы, ты, другие есть, я знаю. Не всё решают тюрьмы и наганы, есть и другая сила, она не в угрозах, а в душе, в воле человеческой...

Они прежде не говорили о политике, тем более так. И вот... Он молчал, слушал и тихо улыбался её горячности. Потом тихо спросил:

– Родная, послушай, а ты не боишься... Вдруг случится, что понесёшь? Как мы будем тогда, здесь, а лагере, а?

Она замерла на вдохе, будто задохнулась, и долго молчала. Лицо её стало скорбным, как у маленькой старушки. Потом заплакала крупными горячими слезами прямо на его руку.

– Не успела рассказать тебе, Андрюша. Прости.

Татьяна успокоилась, вытерла ребром ладони глаза и откинулась от него на подушку. Отстранилась.

– Я расскажу. Сейчас. Нас ведь сразу из Москвы отправили за Кандалакшу, в лес, на делянку. Грузили лес на волокуши – сани такие большие. Снегу по пояс, мокрые все, и эти громадные обледенелые колья, как их, да, аншпуги. Колья подсунем под бревно и толкаем, перекачиваем к дороге до волокуши. Потом надо грузить...

У меня на третий день там внизу очень болело всё, даже кровь была. Некоторые женщины, кто постарше, говорили: «Ну, всё, не рожать тебе, девка...»

Она замолчала и тихо лежала, смотрела в потолок отстранённым взглядом. Закончила холодно, мёртвыми словами:

– Так что, Андрюша, порченная я баба. Матерью мне не бывать. Если будем вместе, если не бросишь меня такую, вернёмся домой и возьмём ребёночка из приюта.

Сказала и словно окаменела. Застыла, ожидая, что скажет он. И он вдруг понял: вот она, черта, которую нужно перейти именно сейчас, перейти или вместе, или порознь. И решат это его слова. Может, даже одно его слово.

Андрей молчал. Ему медленно приходило осознание трагедии, которое вдруг открылось перед ними. Он подумал, а каково это знать ей, знать, что мать не быть? И в каком положении находится она сейчас, в эту минуту, так открывшись перед ним? Он склонился над ней, напряжённой, выжидающей и будто даже чужой уже, и тихо сказал:

— Что же ты такое говоришь, а? Что? Ты же единственная моя радость, судьба моя, и такие слова: «порченная», «бросишь». Как же мне без тебя жить?

И стал целовать её быстрыми короткими поцелуями — в глаза, уголки губ, подбородок, шею. Лицо её стало совсем мокрым и солёным. Она снова залилась слезами, совсем по-девчоночьи всхлипывала и быстрым шепотом говорила:

— Прости, прости меня. Что не уберегла себя, что подумала так. Прости меня...

И крепко обняла его маленькими сильными руками, как, наверное, обнимают, прощаясь навсегда.

Северное лето мощно заявляло о себе. Пролетели на восток к побережью большие косяки гусей. С высоты им виделось Белое море, залитые бурой тёплой водой поймы по побережью, полные еды. И гуси довольно и радостно клекотали в вышине, предчувствуя долгожданный отдых.

Среди развороченной скальной породы то тут, то там пробивалась молодая трава. А в котловане некстати появилась не нужная никому вода. Вода мешала, подтапливала низкие места. Из-за неё приходилось останавливать выкатку грунта и поднимать трапы местами на полметра.

Андрей целый день на ногах. Нужно принимать площадки под ряжи, ругаться с бригадиром. Площадки часто оставляли неровными, и ряжи на неровностях невозможно было установить точно. Андрею приходилось добиваться возвращения рабочих для доделок, выслушивать угрозы и брань, подчас такую

изошрённую и витиеватую, какой в своей жизни он ещё не слышал.

Гигант Титаренко в столовой посмеивался над фигурой Никитина, которая за последнюю неделю стала и вовсе понурой:

— Не журишь, Андрейко. На свежем-то воздухе аппетит лутчайше будет. Давай, давай, нажимай, а то вон отощал совсем...

И наваливал ему миску с горкой, гася неудовольствие соседей по столу злым отрезвляющим взглядом.

— Татьяна у тебя тоже дошла, — приговаривал Титаренко. — Всё бегаёт и бегаёт, ко мне ей забежать некогда. А без меня много не набегает. Так ей и передай.

— Ты, Петро, её чаще видишь, чем я, — говорил Никитин. — Правда, мы теперь с ней на одной линии, только в разных концах.

— Знаю, Андрейко, я всё знаю, — приговаривал Титаренко. — У меня тут все бывают, разные люди и разговоры. Знаю.

После смены по пути в столовую кто-то придержал Никитина за рукав. Бригадир соседнего участка Горбатченко наклонился к плечу и попросил:

— Дело есть. Подойди после столовой к нашему барачу. С мужиками поговорить.

— О чём? — насторожился Никитин.

— Там узнаешь. Помочь надо кое в чём. Мы будем ждать.

После ужина смена вышла на воздух, а Никитин заглянул в амбразуру кухни и кивнул повару. Титаренко подошёл. Никитин спросил о Горбатченко: кто такой, зачем может звать?

— У начальства трётся. Скользкий тип. Вчера долго с «кумом» говорил, с уполномоченным. Так что лучше не ходи.

На следующий день в котловане Горбатченко подошёл сам. Начал с упрёков.

— Тебе хорошо в конторе штаны протирать, а мужики вон доходят. Некоторые готовы на рынок, а как и куда, не знают. У тебя опыт, ты учился там, у этих, как их, скаутов. Подскажи, не будь гадом. На зоне надо друг другу помогать.

— С чего это ты взял про скаутов? Откуда знаешь?

— Читал в газетах.

— Там и про меня написано?

– Хватит вола крутить! Подойди сегодня, мужики просят. После столовой сядем покурить, подойди, поговорим.

– Вы уйдёте, а у меня жена здесь. Мне за вас ещё один срок тянуть?

– Ты только помоги, а там... Ищи ветра в поле. Никто не узнает.

– Да нет, Горбатченко. Ничего я не знаю про скаутов, врут всё в газетах. Играйте вашу свадьбу без меня.

– Ну, сука интеллигентская, смотри...

«Откуда бригадир на стройке может знать то, чего не знал следователь в Москве? – думал Никитин. – Это же подстава! Подойди я, тут же уполномоченный окажется: «Группу собрал! Организуешь побег!» И все дружно покажут на меня. Похоже, обкладывают флажками тебя, Андрюша, и со всех сторон».

На следующий день поздно вечером к ним за загородку заглянул уполномоченный:

– А, Никитин... Тебя-то мне и надо.

– И вам, гражданин начальник, помощь нужна, – не удержался, съязвил Никитин.

– Сам справляюсь пока, – отрезал уполномоченный. – А вот тебе помощь может понадобиться. Пойдём-ка со мной.

В кабинетике уполномоченного при штабе тесновато. Обшарпанный стол, сейф с облупившейся местами краской, шкаф с папками, карта на стене и два стула с расшатанными спинками. На карте тоненькая ниточка трассы будущего канала; к северу и востоку. Совсем рядом Белое море, а на восток сплошное болото километров на сто. Болото в четырёх-пяти местах пересекают русла рек. Ни дорог, ни городов, ни сёл – пустыня. Только вверху, под самым обрезом карты, Никитин приметил череду возвышенностей. Они тянулись от побережья к юго-востоку, огибая топкие болота. Никитин узнал место сразу: Ветреный пояс...

– Ты чего тут у меня затеваешь, Никитин? Проблем хочешь? Организирую тебе проблемы. Я смогу...

Уполномоченный покопался в столе и, не ожидая ответа, положил перед Никитиным несколько листков. Никитин пробежал неровные карандашные строчки: «...на объекте и у нас в бараке вёл с з/к разговоры о беспорядках в лаготделении, зверстве руководства и необ-

ходимости мер неповиновения...», «...вечером собирал нас и предлагал совершить побег на запад, к финнам...», «...клепал на руководство, советовал саботировать производственные задания, организовать группу для побега...»

Все как под диктовку.

– Ваши информаторы не из нашей бригады, я с ними по работе не общаюсь. И живут в другом бараке, гражданин начальник. Липа всё это.

– Тому, кто будет решать, сколько тебе, писатель, добавить сроку – пять или шесть, – всё равно, кто из какого барака. Это для тебя, умника, липа. Для нас – важные показания о групповом побеге, который организуешь ты. И мы обязаны принять меры и предотвратить это нарушение социалистической законности.

Никитин молча смотрел уполномоченному в глаза. Он знал, говорить что-то ещё, доказывать и спорить было излишним. Дело решенное, и время идёт не в его пользу. Так было и в первый арест в Петрозаводске – те же оловянные глаза следователя, те же слова про соцзаконность...

– Я ещё чуток поработаю над этим делом, чтоб ни в Повенце, ни в Москве не сомневались, какая ты вражина, а ты ступай пока, – добавил уполномоченный. – И учти, я с тебя глаз не спускаю!

Над лагерем плыла тихая белая ночь. «Ленинградцы гордятся белой ночью, – подумал он. – Что они знают о ней? Вот она, здесь, на Севере. И тепло-то как!»

Справа внизу полыхали несколько костров. Теперь в котловане каждый день объявлялась ночная смена. Он посмотрел на восток и представил себе громадное стокилометровое болото, а за ним Ветреный пояс. «Как же называл его этот случайный знакомец, чудак Карбасников? Да, Синегорье...»

...Они познакомились в университетской библиотеке в Ленинграде. Никитин вышел размять ноги и в длинном-длинном коридоре, засмотревшись на бесконечную череду шкафов, столкнулся с невысоким, небрежно одетым человеком под пятьдесят. Никитин смущённо извинился и хотел было пройти мимо, но человек его остановил:

— Вы с какого факультета, молодой человек? Кем мечтаете стать?

— Журналистом.

— Замечательно, замечательно! Поездки по стране, новые города, много неизведанного. Что может быть лучше для молодого человека! А я вот всегда мечтал стать географом. И стал им, да. И особенно привлекает меня наш Русский Север.

Незнакомец сделал шаг назад и оглядел Никитина с головы до ног, как бы оценивая, сможет ли он добраться до Русского Севера.

— Бывали? Как! Скоро направят в Петрозаводск?! Это же замечательно! Там же совсем рядом... Приходите ко мне в Географический институт, я вам кое-что расскажу. Удивительно, удивительно...

Никитин не понял, что может быть интересного и тем более удивительного рядом с Петрозаводском. Он уже много прочитал о Карелии. Державинский водопад? Петровский курорт? Всё это давно известно. Что?

Дня через два в заставленных какими-то ящиками коридорах Географического института он нашёл кабинет своего знакомого. Кабинет совсем небольшой, будто чулан, и тоже загромождён коробками, ящиками, полотнищами жёсткого брезента. Хозяина звали Михаил Николаевич Карбасников.

— Я северянин, — отрекомендовался он. — Из Холмогор. У нас общая родина с великим Ломоносовым.

Михаил Николаевич быстро заправил спиртовку, заварил чай в алюминиевых кружках. Всё это он проделал споро, аккуратными отточенными движениями, за которыми чувствовался многолетний навык.

— Три года назад я был там с экспедицией, — Карбасников отпил из кружки, и глаза его заблестели. — Что можно узнать за один полевой сезон, молодой человек? Самую малость, уверяю вас! Там постоянная база нужна, расширенный поиск, детальное картирование. В прошлом году Терентьева из Архангельска заложила базу, забросила инструмент, лодку, дом построила. А в этом году средства не выделили, и работы прекращены. Какая досада...

— Там — это где? — вежливо уточнил Никитин.

— Я разве не сказал? — удивился Карбасни-

ков. — Извините меня. Я думаю только об одном и ошибочно представляю, что и окружающие должны думать о том же. Ветреный пояс — вот где.

Карбасников расстелил на столе карту и стал водить по ней карандашом и рассказывать. Никитин с удивлением узнал, что чередой невысоких холмов на границе Карельской республики с Вологодской губернией — это стёршаяся от ветра, снега и дождя за два с половиной миллиарда лет горная гряда и что старше её на Земле почти ничего нет.

— Андрей, вы только представьте себе: Ветреный пояс сформировался одновременно с атмосферой Земли! Не было ещё ни животных, ни растений — ничего, а Ветреный пояс был! С чем бы сравнить, чтоб вам понятно было... Вот Альпы, к примеру. Альпы сформировались только 500 миллионов лет назад. Это на целых два миллиарда позже...

Карбасников молча допил остывший чай. Закрывая всю перспективу, в окно, чуть не вплотную, близилась желтоватая стена соседнего дома. Во дворе таякала собачонка. Было пыльно и душно.

— Ах, Синегорье, Синегорье, когда же я вновь окажусь там?

Карбасников снова извинился:

— Ветреный пояс местные поморы именуют Синегорьем. Не правда ли, замечательное название? А охотников, что ходят туда на промысел, именуют «ветрогонами». И дичи там, и зверя великое множество, доложу я вам, Андрюша. Сам имел удовольствие наблюдать. Как и рыбы в озёрах.

Он снова замолчал, перекачивая меж ладонями пустую кружку, и тихо сказал:

— Там даже дышится по-другому. Не могу объяснить, с чем связан этот феномен, с особой климатической зоной, подземными источниками-излучениями и ещё с чем-то. Это знание выходит за пределы моей специальности. Но факт подтверждаю со всей ответственностью...

— Что же нам делать, Андрюша? Неужели новые допросы, этапы, пересылки? И снова нас разделят.

— Не разделят. Помнишь, ты писала об уди-

вительном месте, где пережила ощущение счастья? Я знаю о таком месте. Мы с тобой скоро уйдём туда.

И рассказал о встрече с географом Карбасниковым, о том самом древнем месте на планете, где им будет хорошо. Она молчала и слушала. Сто километров болота между адом и раем. Много это или мало?

Андрей тихо стукнул в оконную раму пристройки к столовой. Толстая, мягкая ткань с неровным лохматым краем, выполняющая роль занавески, отодвинулась. Выглянул нечёсанный спросонья повар Титаренко. За стенкой пошуршало, потом грохнулось что-то, и повар вышел на крылечко.

— Не спишь сегодня, Андрейко, да? Меня побудил до компании.

— Извини, Петро, ни времени, ни терпения нет до утра ждать. Обложили меня со всех сторон, возьмут скоро, сам кум обещал. А я больше не могу, ухожу. К тебе с просьбой.

— И Таню возьмёшь?

— Не возьму, так в покое не оставят. Пойдёт как соучастница. Сам знаешь.

— Надо что?

— Харчей, каких сможешь, подкопи в дорогу. Сапоги там или ботинки мне и ей, и, может, добудешь из одежды чего, гимнастёрку, рубаху или фуфайку. Дня через два-три зайду.

Через два дня зайти не удалось. В лагере разгорелся грандиозный скандал. Начавшийся с разговора в кабинете начальника лагпункта Егорова, он вскоре приобрёл характер небольшой катастрофы, разбираться в которой приехала вышеская комиссия из Повенца.

Было так: перед обедом техник-измеритель проектной части заключённая Татьяна Никитина постучала в кабинет начальника лагпункта Егорова.

— Тебе чего? — угрюмо буркнул начальник. — Чего среди дня по штабу шатаешься?

Никитина стала сбивчиво, волнуясь, докладывать, что в отметке нижней точки в камере шлюза обнаружена ошибка. Репер установлен неверно. Из-за этого не выдерживается проектная глубина канала.

— Как такое может быть? — перебил Егоров.

— Может, сама ошиблась? Знаю я вас, грамотеев столичных! Понапутают, а потом виноватых ищут.

Никитина покраснела и ответила, что всё проверила несколько раз.

— И что с твоего репера? Установили, и хрен с ним. Пушай стоит!

— Если оставить как есть, — гнула своё Никитина, — то под днищем судна запас воды будет всего в 24 сантиметра, а нужно по проекту 60 сантиметров.

— Оставить как есть, сантиметров, миллиметров... — начал раздражаться Егоров. — Ты проектные отметки знаешь? То-то. Ты причины скажи. Как такое могло произойти?

— Это последствие обмана, как принято говорить здесь, — туфты. По предварительным расчётам, до 20 тысяч кубометров не выбрали из котлована, а показали в актах как выбранные.

— Ты чего мне тут городишь? — заорал Егоров. — Я сам акты подписывал! Я что, тоже врал, выходит?!

— Врала вам, гражданин начальник. А вы только подписывали.

— На бумагу и ручку и сейчас же всё мне опиши, по пунктам, — разъярился начальник. — Проверим, если наврала, сам лично в отвал закопаю. Без суда. Своей рукой!

И Егоров стал звонить в управление в Повенец...

Комиссия из Повенца приехала на следующее утро. Целый день в котловане шли измерения и обмеры. Поздно вечером, закрывшись в кабинете начальника лагпункта, контролёры доложили результаты. Оказалось, изменением отметки репера скрыта туфта в объёме 47 040 кубометров. Канал на этом участке придётся углублять дополнительно, а это принесёт затраты в сумме 119011 рублей 20 копеек. Всё это следствие подрывной работы организованной группы в составе шести человек: бурильщиков, мастера участка, топографа и других, дела на которых теперь же передаются следствию.

Начальника лагпункта Егорова комиссия отстранила от работы. Его участие и судьбу, равно как и уполномоченного НКВД, проворонившего вредительство на объекте, должны решить в управлении Беломорстроя.

С тем и отбыли...

На следующее утро на высоком трапе в котлован технику-измерителю Татьяне Никитиной кто-то незнакомый дыхнул в ухо прогорклой смесью табака и гниющих зубов: «Ну, всё, сучка, допрыгалась. Молись, если до вечера доживёшь...»

В обед Никитин взвалил на плечи стремянку и с узлом в руках пошагал по плотине в сторону второго отделения. Здесь он стремянку бросил. Перешёл дорогу, что ведёт к райцентру, и вдоль высокого забора спустился к берегу шумной и порожистой реки. Никто его не задерживал. Никто даже не обратил внимания. Техническим руководителям часто приходилось ходить из отделения в отделение, решая какие-то текущие вопросы.

У самого берега Никитин отыскал широкий и развесистый куст ивняка, развязал узел и аккуратно поставил рядом две пары обуви — свои и Татьянины. Рядом сложил конвертом свою рабочую куртку и старую кофту жены. Будто бы подошли двое к берегу, разделись и...

Вечером повар передал увесистый солдатский сидор.

— Что собрал, Петро? — спросил Никитин.

— Еды, сколько смог, да из обуви и одежды какой удалось наменить. И ещё. Котелка нету, я ковшик положил, ручка железная, как раз для костра. И старый ножик с кухни. Мало ли что...

Они обнялись, и Никитин, обходя бараки, пошёл к лазарету. Там его ждала Татьяна.

Часть вторая СИНЕГОРЬЕ

«...Такие люди появляются неожиданно, помогают вам в самый критический момент, а потом исчезают из вашей жизни навсегда.

И вы никогда не узнаете, кто они и почему вам помогли, но без них жизнь была бы невыносимой: это как в чёрную ночь маленькие яркие огоньки, вестники грядущего спасения».

Анна Герасёва,

«Я жила в самой бесчеловечной стране...»

Воспоминания анархистки

Татьяна сидела на чурбачке возле лагерной больнички, радостная, полная нетерпения и даже, как показалось Никитину, счастливая.

— Ну что, Андрюша, как ты решил? Что?

— Поднимайся и пошли. Выйдем за периметр, там объясню.

Они неторопливо, не скрываясь, прошли линию барачков, пересекли картофельные поля на задах и углубились в мелкий лес, окружающий лагерь с восточной стороны. Лес небольшой, полоска метров сто-сто пятьдесят. Никитин знал, что за ним начинается болото. У ближней кромки болото ещё твёрдое, высокое, а вот дальше пойдёт с понижением, с топкими местами, которые придётся обходить.

При строительстве барачков использовали мох. Мхом конопатили стены, утепляли оконные блоки, и вообще никакое строительство не обходилось без мха. Даже поговорка бродила у местных: «Если бы не клин да не мох, и плотник бы сдох». Мох заготовливали, или, как принято говорить, «драла», целая бригада заключённых. Никитин разговаривал с заготовителями, аккуратно выпрашивал, как далеко им приходится уходить, что там за лесом.

На краю леса и болота остановились. Лагерных построек отсюда не видно. Впереди, сколько хватает глазу, ровная поверхность мха, перебиваемая крохотными рошицами мелкого низенького кустарника. Зыбкий, ненадёжный и опасный путь.

— Сейчас второй час ночи. Нас хватятся между восемью и девятью часами. Позвонят во второе отделение, там бросятся искать вдоль берега и найдут наши вещи. Потом переправят на западный берег группу преследования.

Получается, наш запас во времени примерно до десяти часов. К тому времени мы обязаны пройти километров двадцать. Там сделаем первую ночёвку.

– По болоту? Двадцать? Я не смогу...

– Теперь послушай. За километр-другой у нас выработается нормальный темп движения. Не быстрый, не медленный, а нормальный, такой, какой удобен. Его нужно уловить и поддерживать. В пути старайся не разговаривать, вопросов не задавать и не останавливаться. Делай как я и ничего больше.

Похоже, Татьяна испугалась, и Никитин подумал, что зря он так жёстко. Женщина всё-таки. Она растерянно смотрела то на болото, то на Андрея. Двадцать километров пути никак не вмещались в её сознание. Но ведь идти нужно, и будет очень трудно, – уж это Никитин хорошо знал.

– Не бойся, радость моя! – сказал он успокаивающе. – Знаешь, есть такое напутствие скаута: «...когда настанет момент, выходите из дома с уверенностью и без раздумья о том, убьют вас или нет». Это ведь про нас, правда? А ребята из «Братства костра», помню, в самые трудные времена пели:

*Нас десять, вы слышите – десять!
И старшему нет двадцати.
Нас можно, конечно, повесить,
Но нужно сначала найти!*

– Под эту речёвку легче идти, я пробовал, – улыбнулся он, пытаясь поднять настроение жене. – Вот пусть теперь ищут...

1

С вечера Карбасникова томило что-то, и он никак не мог понять, к чему бы эта напасть. Ночью несколько раз вставал и слонялся из угла в угол по пустой квартире. Когда надоедало слоняться, зажигал керогаз, ставил чайник и пил чай, прислушиваясь к себе и тщетно пытаясь угадать причину своего состояния.

Такое бывало с ним и раньше, но на то всегда бывали причины. Как правило, одни и те же. Обычно за два-три дня до отъезда в экспедицию накатывало беспокойство, и он просыпался ночами, на цыпочках шел на кухню и проверял по записям, всё ли предусмотрел. Жена всякий раз просыпалась, демонстративно, рывком, отворачивалась к стене и что-то злое шипела из-под одеяла.

Теперь ходить на цыпочках не надо. Жена ушла в 26-м, когда вот так, как сегодня, он бродил по квартире, собираясь в экспедицию на Косу Тузла. Не ехать туда для него было бы преступлением перед профессией. Упустить случай, который выпадает не всякому географу за целую жизнь? Да никогда!

Тогда произошло очень интересное явление. В 1925 году сильнейшим штормом в корневой части косы промыло канал и за несколько суток образовался настоящий остров. Его так и называли – остров Коса Тузла. Ему, Карбасникову, предложили выехать для обследования этого феномена и дать детальное описание. Ну как тут откажешься! А в 1929 году вышла статья, сделавшая его известным в кругах не только практических географов, но и академиков.

Карбасников наскоро побрился, с неохотой съел позавчерашний творог, иначе его нужно было выбрасывать, и отправился на работу. Каждое утро он гнал от себя мысли, что лучшие годы уходят, а денег на экспедиции всё нет и нет. Конторская работа с чтением старых отчётов для составления на их основании отчётов новых его угнетала. Тем более институт, как и вся наука вообще, претерпевал очередные организационные судороги. На днях ни с того ни с сего кафедры и лаборатории вдруг объединили в какой-то Сектор подготовки географов. Сам Карбасников и его коллеги бродили по кабинетам, пытаясь выспросить, что может крыться за подобной метаморфозой. Но, увы, никто ничего не знал. И настроение оттого не прибывало.

Перед обедом позвонили из приёмной и попросили к 15 часам быть у декана.

– Какой вопрос? – спросил Карбасников.

– Там узнаете, – отрезала секретарша.

– Я имел в виду, может, документы какие необходимы. Чтоб подготовиться, – попытался объяснить Карбасников. Но трубку уже повесили.

В приёмной никого не оказалось, и Карбасникова сразу пригласили. У декана ему доводилось бывать раза три, и всякий раз встречи его радовали. Он уважал Ферсмана, высоко ценил его блестящее экспедиционное прошлое. Как же! Кольский полуостров! Монче-

горские заполярные тундры! Хибины! Открыл медно-никелевое месторождение, месторождение апатита. И это в краях, где десять месяцев в году только снег и лёд. А в багаже ещё Средняя Азия и открытые им запасы серы...

У Ферсмана могучая фигура, за которой кроется недюжинная сила, бритая голова, острый озорной взгляд. В институте поговаривали, что основной рабочей силой в его экспедициях бывали заключённые окрестных лагерей. Далеко не все с ними справлялись. Но Ферсману достаточно было слова, чтобы укротить любое баловство.

В большом кабинете Карбасников увидел ещё двоих. Справа от Ферсмана сидел хмурый мужчина в тёмно-синем костюме, больше похожем на военный френч, и молодая симпатичная женщина. Перед деканом лежала стопка исписанных листов. По расположению текста намётанным глазом Карбасников определил, что это чей-то отчёт. Именно так у них принято оформлять экспедиционные отчёты.

Ферсман указал Карбасникову на стул рядом с женщиной, и Карбасников сел, стараясь поглубже, под стол, спрятать растоптанные и грязные ботинки и штанины, взявшиеся по низу заметной бахромой.

Ему стало неловко. Захотелось немедленно встать и объясниться: мол, не подумайте, у него и ботинки есть новые, и брюки он бы привёл в порядок, если бы, конечно, знал о приглашении к руководству. Но он не знал. Извините, товарищи, стыдно, мол, исправлюсь...

— Разрешите представить одного из лучших наших экспедиционников Михаила Николаевича Карбасникова, — сказал Ферсман. — Учёный, географ, исследователь и, что наиболее важно, — не кабинетный затворник, а любитель увидеть, потрогать, дойти самому. Несколько лет назад был на Ветреном поясе, полюбил и снова рвётся туда...

— Михайлов, — коротко представился мужчина.

— Ракитина Татьяна Николаевна, — назвалась женщина.

— Вы ведь и родились где-то там недалеко? — спросил Михайлов.

— У нас одна малая родина с Ломоносовым, — сообщил Карбасников, — Холмогоры.

— Ну вот видите, — сказал Михайлов, будто

продолжая начатый разговор. Карбасников не понял, что значит это «видите».

— Мы тщательно изучили ваш отчёт, Михаил Николаевич, — сказал Ферсман. — Добротная работа. Но хотели бы поговорить о том, что выходит за его рамки и что вы наверняка могли отметить, находясь на Ветреном поясе в течение э-э-э, — Ферсман стал листать бумаги к началу, пытаясь определить временные рамки.

— Трёх месяцев, Александр Евгеньевич, — подсказал Карбасников. — Видите ли в чём дело. В начале октября начались обложные дожди, потом снег. И нам пришлось сворачиваться, чтобы не подвергать опасности партию при возвращении в Архангельск морем.

— Да, да, помню, — сказал Ферсман. — Спасибо! Дайте для начала общую характеристику района.

Карбасников коротко рассказал о Ветреном поясе, его уникальной для планеты древности, особенно подчеркнув его слабую изученность при относительной доступности.

— Весь район занимает 250 километров в длину с северо-запада на юго-восток, при ширине всего до 30 километров, — подчеркнул он, начиная горячиться. — Это что? Несколько полевых отрядов за три года смогут дать полную и достаточно объективную характеристику, а мы топчемся и топчемся. Всё денег ждём...

— Вы не обнаруживали что-то необычайное в своих маршрутах, то, что можно почувствовать, испытать посредством чувств? — спросил Ферсман. — Мы запросили отчёт Терентьевой, и у неё есть ссылки на отрывочные свидетельства о неких «местах силы», как кто-то из её съёмщиков остроумно назвал подобные зоны.

— Да, Александр Евгеньевич, на Русском Севере подобные места встречаются. Это не секрет. Да и вы, работая на Кольском, не могли о них не знать.

— Слышал. Приходили местные, называли Ловозеро, гору Луяврурт с какими-то лазами в подземелье, но...

— Кхе-кхе, — громко сказал Михайлов, прерывая декана. — Вы разрешите, товарищ Ферсман?

Ферсман кивнул.

— Любые сведения, связанные с подобными вопросами, являются государственной тайной,

— произнёс Михайлов металлическим голосом.
— Сообщения о них, а также о составе экспедиций, районах работ, результатах, сделанные умышленно или по неосторожности кому бы то ни было, кроме здесь присутствующих, являются государственной изменой и будут преследоваться по закону.

«Господи, мне только этого не хватало», — подумал Карбасников, и ему стало душно.

В кабинете декана повисла напряжённая тишина. Карбасников думал, зачем понадобился он, скромный географ, если дело разворачивается, судя по всему, секретное. Чем может оказаться полезным он, сроду не сталкивавшийся ни с чем подобным?

— В Архангельске готова к выходу экспедиция на Ветреный пояс, — сообщил Ферсман, словно угадывая настроение Карбасникова. — Вероятно, через несколько дней, максимум неделю, она выдвинется в район работ. Вам, Михаил Николаевич, предстоит участие в ней. Тем более, вы давно проситесь.

— Премного благодарен, Александр Евгеньевич, — обрадовался Карбасников. — С Марией Фёдоровной увижусь. А то мы всё больше по переписке обмениваемся...

— Не увидите, — остудил Карбасникова Ферсман. — Экспедицию возглавляет другой человек. Терентьева... она... э-э-э...

— Терентьевой в Архангельске нет, — сказал Михайлов. — Она занята на... на других работах.

— Работа в поле для вас привычная, но на этот раз не главная, — продолжил Ферсман. — А главное дело состоит в поиске, привязке к местности, описании и в максимально возможном в скромных полевых условиях исследовании «мест силы».

— Но я только географ, — возразил Карбасников. — Подобные исследования находятся вне рамок моей специальности.

— Вам в помощь направляется Татьяна Николаевна. Она, по документам, инженер, съёмщик, а по главной специальности...

— Кхе-кхе-кхе, — громко сказал Михайлов.

— Основной целью исследований станет то, о чём я вам уже сообщил. Ваша задача максимально содействовать её работе.

— Ни на минуту нельзя забывать об абсолютной секретности, — добавил Михайлов. — Ник-

то в экспедиции не должен знать, что интересуется вас в первую очередь. Предупреждён только руководитель.

— И ещё, — добавил Ферсман. — Если ехать поездом, вы экспедицию не застанете. Поэтому через три-четыре дня будет выделен самолёт полярной авиации. Вас вдвоём доставят в Архангельск за несколько часов. А сейчас отправляйтесь в экспедиционный отдел, экипируйтесь, готовьте детальные планы предстоящих работ и документы. Приказ уже подписан. Желаю успеха!

Карбасников хотел услышать хотя бы голос будущей напарницы, но Татьяна Николаевна не проронила ни слова. Один раз она хотела сказать что-то в ответ на реплику Ферсмана, но Михайлов коротко взглянул, и она потупилась и промолчала.

Карбасников вернулся в свой кабинетик, заварил на спиртовке чай в большой алюминиевой походной кружке и, прихлёбывая, стал пить тягучую бурюю жидкость мелкими глоточками. Он попытался осмыслить предстоящее.

Карбасникову очень не нравилось, когда его ставили в положение, при котором он, довольно опытный и много испытавший, вдруг оказывался в роли начинающего, этаким мальчишкой от профессии. Что знает он о «местах силы»? Что это такое вообще? Духоподъёмные настроения, ощущение полёта, прилив сил, появлявшийся внезапно и ниоткуда... Да, всё это он испытал на себе. Но исследовать эти феномены, описывать, фиксировать? Для этого нужен не географ, а писатель.

Карбасников порывался на книжных полках, перебрал с десятков научных работ, сходил в библиотеку и через два часа понял бессмысленность поиска. О «местах силы» не упоминал никто. Собрался было пройтись по кабинетам, порасспрашивать коллег, но вовремя вспомнил предупреждение Михайлова.

«Что делать, что делать, что делать...» — неотступно думал он, трясаясь вечером на институтской машине по дороге домой. Машину выделил сердобольный завхоз, когда с рюкзаком, набитым экспедиционным добром, Карбасников растерянно сидел в коридоре у вахты, не решаясь выйти во двор. И ночью он по минутно вскакивал и подолгу смотрел в серую

муть летней питерской ночи за окном. Будто ждал, что сейчас влетит в форточку некто и сообщит всё, что нужно знать уважающему себя учёному перед выходом в поле. Но никто к Карбасникову так и не прилетел.

2

Трудности, представлявшиеся перед побегом Андрею и Татьяне и страшившие их, оказались сущим пустяком в сравнении с тем, что пришлось испытать уже в первый день пути.

«Ладно, я мужчина. Я перетерплю. Нужно только втянуться, — неотступно думал Никитин. — Но она-то, как выдержать ей? И что я должен делать, что сказать ей, подскажи, Господи? Это же жестоко...»

Он быстро обнаружил, что трёх умений не дал скаутский опыт. Первое умение — ходить по болоту. Даже не ходить, а всё время идти только по болоту. Этому предстояло научиться. Второе умение выдерживать маршрут. Оказалось, по болоту невозможно идти прямо. Всё время приходилось кружить, обходя топкие опасные места и выбирая более-менее твёрдую поверхность. И третье умение, самое важное прежде всего для неё, — не обращать внимания, что с первого шага и весь день ты будешь мокрым с головы до ног. Пот течёт между лопатками. Привычная обувь становится тяжёлой и неудобной. При каждом шаге чувствуешь, как вода сочится и хлюпает у тебя между пальцев и вытечь не может...

Никитин решил не останавливаться до первой реки. И вообще, остановки и ночлег устраивать только у реки, где лес пусть по-северному жидкий, но способен укрыть и дать костёр. Он был уверен, погони не будет. Но мало ли что...

Татьяна шла молча, потом иногда вскрикивала, звала, и он останавливался, помогал вытащить из трясины ногу и вылить из старых ботинок бурю жижу в комках жёлтой прошлогодней травы. В глаза жене старался не смотреть: помог и сразу двигался дальше. Он знал, если расчувствуется, если даст волю жалости, они пропали.

...Небольшой островок леса впереди. Скала, покрытая слоем мха, и редкие невысокие деревья в расщелинах и по краю. Твёрдая земля под ногами. Она заканчивается ровно через

двадцать метров. За ней на километр или полтора только зелёно-буро-жёлтое пространство в кляксах настоявшейся, как старый больничный раствор, воды. Как хорошо ступить на твёрдое, пройти, раскачиваясь, по сухому эти двадцать метров. Но твёрдое и сухое заканчивается, и, замерев на секунду, нужно заставить себя шагнуть в пахучий, мягкий и сырой мох...

На одном таком островке Таня постояла немного и не шагнула, опустила на колени и заплакала.

— Не могу больше, прости...

Она плакала навзрыд, не закрывая лицо руками, а наклонившись вперёд и раскачиваясь. Слёзы стекали бороздками по измазанному лицу и падали в мох. Никитин опустился рядом и обнял за плечи:

— Ну, ничего, ничего... Отдохни немного. Вон, видишь, полоска леса впереди? Дойдём и сделаем привал. Будет костёр, поедим и обсушимся. Ещё немного, давай...

— Я умру здесь, — говорила она сквозь слёзы. — Умру. У меня больше нет сил. У меня опухли ноги. Ты посмотри, что с ними стало...

Татьяна с трудом разулась. Ступни вышли из ботинок, словно поршни из цилиндра, — с чавканьем и брызгами. Он увидел: пальцы ног белые-белые, кожа на них сморщилась, как у старушки, и опухоль уже пробежала по краю ступни, там, где больше всего им достаётся.

Никитин принёс пригоршню воды, омыл и вытер полую куртку Танины ноги. Потом, неожиданно для себя, встал на колени и поцеловал каждый палец — один за другим, поцеловал медленно, ощущая губами их холодно-мраморный вкус.

— Пусть обсохнут, счастье моё. Подождём. А потом пойдём дальше.

Таня перестала плакать. Она сидела со скорбным лицом и смотрела через болото туда, где за километр или полтора виднелась полоска леса. Никитин снова принёс пригоршню воды и, как ребёнку, вымыл Танино лицо.

— Ты очень красивая у меня. И всегда будешь красивая, даже в старости. Ты не умрёшь никогда, правда? Как же мне жить тогда без тебя, а? Для чего?

К исходу третьего дня они вышли к большой реке. Река текла в сумрачном еловом лесу, плот-

но подступившем к берегам. Как обычно в таких местах, в ельнике стоял угрюмый сумрак и было тихо. На душе сразу стало тревожно. Вечер ещё не наступил, и, по установившемуся правилу, следовало переправляться и идти дальше. Однако Никитин решил устроить длительную остановку.

— На том берегу обсушимся и переночуем, — сказал он Татьяне. — Мы с тобой заслужили хороший отдых, правда ведь?

Она не ответила и даже не улыбнулась. Только посмотрела таким долгим и усталым взглядом, что у него снова защемило сердце. Они теперь мало разговаривали, а на шутки и вовсе сил не осталось.

Это была их четвёртая река. Первую они перешли по бревну, но каждая следующая оказывалась всё шире и шире. Никитин отыскивал на берегу сухую корягу или обломок бревна, они раздевались и брели или плыли, толкая перед собой ненадёжную опору, что попала под руку, с тюком одежды наверху. И теперь они переправились так же, спускаясь вниз по течению и правя наискосок речных струй к противоположному берегу.

В тихой заводи течение оказалось совсем медленным. Они вышли из воды. Никитин быстро наломал нетолстых сухих веток и разжёг костёр. Еловые лапы расстелил неподалёку, с наветренной стороны. Татьяна легла и молча лежала, глядя на огонь неподвижным равнодушным взглядом. Ботинки её совсем развалились. Никитин достал из вещмешка старые солдатские ботинки, что выменял в дороге повар Титаренко. Прежде ботинки служили сменной обувью. Татьяна надевала их на привалах, пока Никитин сушил её ботинки. Теперь ботинок не стало.

Костёр быстро разгорелся, и уставшему донельзя Никитину хотелось лечь рядом и лежать, лежать и лежать, глядя на огонь. Но сил от такого лежания не прибывает, скорее, наоборот, и это он хорошо знал. В мешке оставалось немного перловой крупы, две луковицы и потерявший всякую форму от сырости кусок хлеба. Никитин понял: еда закончится сегодняшним ужином.

Он сварил кашу, и они поели, осторожно выбирая сваренную без соли безвкусную перловку каждый со своего края ковша. Есть им не хоте-

лось, и Татьяна отказывалась сначала. Никитин настоял, — путь впереди долгий.

— Разве это не наша река? — спросила Татьяна.

— Это четвёртая. Будет ещё одна, небольшая, за ней — наша.

Она отложила ложку и легла.

— Я больше ничего не хочу, — сказала она равнодушно. — Ни есть, ни идти, ни жить.

— Я понимаю. Это нормально. Я тоже смертельно устал. Но усталость пройдёт. Вот увидишь.

Он подбросил дров в костёр, наломал хвойных веток, постелил и лёг рядом с женой, обхватив её худенькое тельце в лагерном бушлате третьего срока. Бушлат на ней казался теперь свободным, как парус. И мгновенно уснул...

Никитин проснулся от тревожного чувства. Ему показалось, что кто-то смотрит на него, и от этого взгляда было не по себе. Он резко поднялся. Татьяна сидела напротив и смотрела испуганным взглядом.

— Андрей, просыпайся! Скорее! Где мы? — спросила она тревожно. — Как мы здесь оказались?

Никитин набрал сухих веточек и раздул угольки погасшего костра. Огонь поднялся, весело пробежал по веточкам.

— Мы пришли, покушали и уснули. Потому что устали очень. Мы с тобой идём уже три дня.

— А куда идём?

— На Ветреный пояс. Там большая река, там настоящий большой дом, там нам будет хорошо. Ты разве не помнишь?

Он набрал в ковшик воды и высыпал в кипящую воду пригоршню брусничных листьев. Кружку, кем-то вырезанную из консервной банки ещё в лагере, отдал Татьяне, а сам пил чай маленькими глоточками прямо из ковша.

— Ты отдыхай и отдыхай, — сказал он Татьяне.

— До утра времени много. Вот налажу костёр пожарче, и станет тепло. Спи и ни о чём не думай.

Он прошёл по берегу вниз по течению в поисках сухих дров и за несколько раз принёс к костру охапки толстых еловых веток. Татьяна спала. Выражение лица у неё как у обиженного ребёнка, которому пообещали чего-то вкусенькое, да так и не дали. И Никитину снова

стало неловко. Но он отбросил эти мысли.

Что теперь терзаться? Да, знал, будет трудно, очень трудно. Но они решились и ушли и, значит, обязаны пройти свой маршрут до конца. Иначе не стоило и бежать. Умереть можно и в лагере, там всё к этому шло. А теперь следует думать о будущем. Завтра снова в дорогу, и нужно что-то есть. По его расчетам, предстояло два-три дня пути, и на остатках перловки им не дойти.

*Нас десять, вы слышите – десять,
И старшему нет двадцати.
Нас можно, конечно, повесить,
Но нужно сначала найти!*

Никитин вспомнил скаутскую речёвку и улыбнулся: да-да, сначала найдите! Он укрыл ноги жены курткой и пошёл по берегу.

«Была бы хоть какая-нибудь снасть, наловил бы рыбы, – думал он. – Рыбы здесь, наверное, полно. Места дикие».

Метрах в пятидесяти ниже заметил шестик, торчащий из воды у самого берега. Такие шесты рыбаки ставят, чтобы укрепить самолёвы на щуку. Он подошёл. На самом деле – вершинка шестика оказалась обвязана старым оборванным шнуром. Никитин испугался. Вдруг они не одни? И кто тут может быть, простой рыбак или патруль, пробавляющийся рыбалкой в засаде?

Он пригнулся и пошёл, осторожно ступая, подалее от берега в лес. Вскоре увидел старую тропинку. Тропинка давно нехожена, заросла по краю травой и покрылась ярко-зелёным мхом. Но это тропинка! Никитин повернул к берегу и скоро оказался у старого рыбацкого кострища. Здесь вешала для сетей, догнивали рёбра брошенной лодки, валялись самодельные вёсла, вытесанные наспех топором.

Но куда ведёт тропинка? Метрах в сорока от берега она вывела к порогу полуземлянки. Рыбаки строят такие, чтобы пережить неделю во время хода рыбы. За дверью в сумраке увидел нары по обеим стенам, столик меж ними, а справа от входа открытый очаг, обложенный камнями. В землянке пахло застоявшимся, горьким дымом и сыростью гниющего дерева. На столике вверх дном стояла донельзя закопченная кастрюля с проволочной дужкой. Судя по всему, прежним хозяевам кастрюля служила

вместо котелка. На скобе в потолочной балке висели два холщовых мешочка. Никитин потрогал: в одном мешочке нашупал сухари, в другом оказалась мелкая сушёная рыба.

«Слава тебе, Господи! – порадовался Никитин. – Теперь у нас есть еда, теперь точно дойдём...»

Горящий очаг быстро просушил землянку. Стало тепло. И когда они перебрались сюда, поели и легли на нары, показалось, что счастье – вот оно и никуда больше идти не нужно. Татьяна выпалась и повеселела.

– Помнишь, как мы познакомились? – спросила она Андрея. – Лето ещё не началось, весенняя сессия, и мы с девчонками сдали только третий экзамен.

– И чего вас занесло на площадь? Да ещё среди ночи.

– Нет, ты сначала скажи, кто там был среди вас, тот, третий. Ты, Серёжа Хряпин, а вот третий...

– Третий тоже Серёжа, с геологоразведочного. Хороший парень, умница, но спорщик страшный и вечный правдоискатель.

– А теперь он где?

– Ты разве не знаешь, где нынче правдоискатели? Вот там. А точно не знаю.

Она замолчала, и они долго лежали молча, вспоминая друзей, которые в большом и свободном мире, ходят на работу и в кино, пьют чай на кухоньках под большой чёрной тарелкой радио. И других вспоминали, которых на работу водят и у которых своих кухонек нет, и над их головой радио не рассказывает бодрые новости и не поёт, что «человек проходит как хозяин необъятной Родины своей». И вот они вдвоём теперь тоже знают, насколько необъятна их родина. Только вот хозяевами себя не чувствуют.

– А ты мне тогда, в первый раз, не понравился. Всё молчал и улыбался, молчал и улыбался. Почему?

– А ты что подумала?

– Решила, ты либо отличник-зазнайка, либо папенькин сынок. У таких папы обычно большие начальники, а сынки самодовольные и улыбаются снисходительно.

– Как же вы среди ночи на площади оказались? Ты мне не ответила.

– Загадали, если сдадим с первого раза, пойдём гулять на всю ночь. Потом, конечно, не за-

хотелось, но пришлось идти. Валя сказала, что загаданное нужно исполнить, иначе удачи не будет. Так ты чему улыбался всё время?

— Тебя увидел и сразу решил, эта девушка моя, только моя. И всё время думал, как тебе об этом сказать.

— Влюбился?

— Нет, не влюбился. Просто решил: она моя, и другой не хочу. А ты когда в меня влюбилась, — там, на выпускном, когда мы с тобой протанцевали весь вечер?

— И я в тебя не влюблялась. Помнишь, встретились вечером в библиотеке? Я уже уходила, а ты прибежал, запыхавшийся весь. Искал что-то. Я тогда подумала, что хочу с тобой жить. Просто жить. Вместе. Ложиться вечером и вставать утром, бродить по улицам, прибираться дома. С тобой. И всё.

В землянке тихо, и только где-то далеко вверху шумят кронами ели, роняя высохшие ветки прямо на крышу. Никитин подумал, что ветер, поднявшийся с вечера, очень кстати; утром не будет росы, и они дольше пройдут сухими.

— Андрюша, — тихо позвала Татьяна. — Андрюша. Спасибо тебе за всё. Я тебя очень люблю. Скажи честно: если я не смогу идти дальше, ты меня не бросишь одну?

Он услышал, как она глотает слёзы, плачет.

— Как же я могу тебя оставить, если ты моя жена и я тебя люблю? Что ты такое говоришь? Да и сил у тебя ещё столько, что ты сама не знаешь. Мы скоро дойдём, не сомневайся.

Она ещё немного похлопала носом и затихла. Может, уснула. Никитин подумал, что нельзя оставлять её на ночь с плохими мыслями, и предложил:

— Давай расскажу тебе историю про одного принципиального чудака, — сказал Андрей. — Он в больничке у нашего Грубера подвизается. История поучительная. Посмеёшься.

Татьяна не отвечала. Никитин воспринял молчание как согласие.

— Он немец, фельдшер, фамилия Вейнгарт. С международной миссией приехал на Кавказ, и его там арестовало ГПУ. Немец на дыбы, писать во все концы, жаловаться. ГПУ думало-думало и, чтоб избавиться от скандалиста, решило отправить его на родину. Но через Польшу. Патруль привёз к границе и говорит:

— Вот граница, иди. Ты же домой хотел.

Немец справедливо возражает:

— Я же без документов. Куда я пойду? Верните мне мои документы!

— А зачем тебе документы?

— Меня сразу арестуют.

— Это нас не касается. Просился из СССР, так уходи, а то пристрелим.

Разумеется, в первый же день Вейнгарта арестовали как советского шпиона, и он, так же, как в СССР, стал жаловаться. Тогда поляки выдали его обратно в СССР, где он тут же получил по 58-й три года лагеря, уже как шпион польский...

— Да, смешная история, — мрачно отозвалась Татьяна. — Такая же смешная, как наша с тобой. Обхохочешься...

За рекой болото заметно изменилось. Всё чаще попадались озёрки с прозрачной водой. Немного странно было стоять на пружинящем топком краю и смотреть, как прямо у носка ботинок разверзлась многометровая пропасть, наполненная хрустально-чистой водой. И как среди болотной жижи вода в озёрках сохраняла безупречную чистоту, оставалось для них загадкой.

То тут, то там из болота выступали каменистые гряды. Будто дельфинья спина, гряда выныривала из трясины, чтобы через несколько метров снова нырнуть в трясины...

И скалы, скалы виднелись на горизонте, куда ни глянь: и на юг, и на восток, и в сторону севера...

После долгого отдыха они заметно прибавили в скорости, и ту маленькую речушку, которую видел на карте Никитин и о которой помнил, они встретили уже в середине дня. Речушка оказалась не такой уж и маленькой. Им пришлось раздеваться и переплывать её испытанным способом. На противоположном берегу развели костерок, обсушились, и Никитин сварил в ковше немного сушеной рыбы. Варено получилось совсем неаппетитным, похожим на клейстер, которым клеят обои, и с неприятным запахом. Но что было делать... Татьяна, сморщившись и гримасничая, заела варено сухарём, и они двинулись дальше. Теперь их ждала та, настоящая, большая река, где им предстояло жить...

3

Через четыре дня после разговора у ректора, утром, Карбасникову позвонили домой, и незнакомый голос объявил, что вылет назначен на сегодня. Через полчаса нужно спуститься во двор, где будет ждать машина на аэродром. Карбасников взволнованно покружил по пустой комнате, допил холодный с вечера чай, а потом взял собранный три дня назад чемодан с книгами, влез в лямки давно потерявшего форму тяжеленного рюкзака и спустился вниз. В машине был только водитель.

— А где товарищ Ракитина? — спросил Карбасников водителя, едва они тронулись. — Она разве не с нами?

— Ничего не знаю, — буркнул водитель. — Сказано, везти вас, вот и везу...

Карбасников смотрел на проплывающие назад дома, на людей, выстаивающих на автобусных остановках, и думал, как скучно они живут, как мало видели на свете. Дом-улица-автобус-работа, и вечером обратно: улица-автобус-дом...

Да, в экспедициях бывает нелегко, согласен. Особенно невыносимо трудны переходы и лагерное обустройство. Тут и неразбериха, и еда кое-как, и ночёвки где попало. Но когда база сформирована и ты знаешь, что вернёшься из маршрута в тёплый дом или натопленную палатку; и что есть закуток, где можно помыться, и столовая не на кочке, а со столом под брезентовым пологом-навесом...

Какая же это красота! Какая радость на душе!

А вечером при свете керосиновой лампы и за чистым столом можно до ночи засидеться за обработкой материалов или над картой. Что ещё нужно исследователю, бродяжьей душе, для счастья! Это не в шумном и пыльном городе проживать свои лучшие годы...

Прекрасное настроение родилось в душе Карбасникова. Как, впрочем, рождалось всякий раз перед новой экспедицией.

Автомашина остановилась на пропускном пункте, Карбасников вышел, хотел поблагодарить водителя, но успел только нагнуться к водительскому стеклу. Водитель дал газ, и машина в минуту исчезла, оставив Карбасникова в неловкой растерянности.

Дежурный посмотрел паспорт Карбасникова, сверил со списком и велел идти в домик штаба, в диспетчерскую. Карбасников снова нагнул на себя рюкзак, взял чемодан и пошёл на край лётного поля, в домик, выкрашенный зелёной краской. В домике он никого не нашёл, и только из двери с надписью «Диспетчерская» раздавались громкие голоса. Судя по всему, там спорили.

Карбасников оставил вещи в коридоре и постучал. Видимо, его не услышали, потому что ответа он не дождался. Он приоткрыл дверь и увидел за длинным столом немолодого и злого мужчину в лётной форме. Напротив него через стол сидел второй такой же немолодой мужчина в кожаной куртке. Лицо его было не злым, а скорее растерянным. Перед мужчиной в куртке лежал кожаный лётный шлем с большими наушниками. Тут же за столом Карбасников увидел Михайлова.

Ракитина сидела у стены, где ровно, как солдаты на параде, стояли одинаковые стулья. На ней был лёгонький светлый плащ и газовая козырька, повязанная кокетливым узелком с торчащими в разные стороны концами. «Что-то не по форме оделась, — подумал Карбасников. — Будто вышла в парк погулять, а не в экспедицию. Видно, не бывала ещё в поле».

Карбасников извинился и присел возле стенки рядом с Ракитиной. Никто не обратил на него никакого внимания.

— Пойми же, Кузьма Фёдорович, устал я, — видно, в десятый раз повторял мужчина с лётным шлемом. — Неделю мотался по островам, а там погоды оё-ё-ёй! Сам знаешь. И у тебя там полётано немало. Дай ты мне роздыху с неделей. И сердчишко вон поджимает.

— Ну, некого мне послать, некого! — кричал второй мужчина в форме. — Не первый год летаешь. Пора такая, экспедиции, все в разгоне. Вчера борт на Кольский отправил. Подлети до Архангельска одним днём туда и назад, и я тебе неделю... нет, дня три отгулов организую. Только одним днём...

Сказано это было уже не раз и не два, аргументы стороны исчерпали, и теперь в диспетчерской наступила тишина. «Вон у них как, оказывается, — подумал Карбасников. — Не могу, а надо. Да и то сказать: в экспедиции десятки человек, и выход назначен. И как тут ждать...»

Молчание прервал Михайлов. Металлическим казённым голосом он не приказывал, не просил, а просто задал вопросы:

— Мы видим, что товарищ хочет сорвать важное государственное задание, так? Правительственное задание, напомним. Товарищ не понимает, что стоит за этим заданием, и всячески препятствует? Товарищ ставит свои мелкособственные интересы выше государственных? Если это так, то разве можно доверять такому штурвал государственного самолёта? Разве место ему среди советских лётчиков, представляющих передовой отряд граждан нашей страны?

— Он очень устал и болен, — резко сказала Ракитина. — Разве не видите? Я врач и, как врач, прошу дать ему отдых.

— Почему посторонние в служебном помещении? — свистящим шепотом спросил Михайлов у мужчины в форме. — С каких пор пассажиры будут давать нам советы? Освободите помещение! Немедленно!

Карбасников вышел вслед за Ракитиной, и они молча стали ходить по коридору штабного дома из одного конца в другой.

— Всё-таки и лётчика жаль, и экспедицию, которая ждёт выхода, — сказал Карбасников, чтобы просто не молчать. — И даже не знаешь, как в таком положении поступить, чтоб было верно.

— Не будет никакой экспедиции в этом году, — неожиданно сказала Ракитина.

— Простите, э-э-э, Татьяна Николаевна, как не будет? У меня задание, утверждённый план...

— У меня тоже. А экспедиции не будет.

— Откуда вы узна... А вы сообщили об этом руководству?

— Зачем? У них ведь тоже задание и план. Не поверят.

«Как это не будет экспедиции? — беспокоился Карбасников. — Кто может отменить? Столько затрачено усилий и средств, и отменить? Нет, тут что-то не так. Мистификация». И он стал искоса поглядывать на Ракитину, стараясь понять, не шутит ли она с ним, не дурачит ли. Встречались ему такие шутники, способные разыграть простака на самом для него важном и значительном.

— Не нужно на меня поглядывать, Михаил Николаевич, — сказала Ракитина. — Я с ума не сошла и шуток не люблю так же, как и вы.

— Простите, но такое известие. Странно, согласитесь... В голове не укладывается. Почему вы знаете?

— Я врач, но не простой врач, и вряд ли смогу объяснить вам своё знание, — сказала Ракитина.

— Нам всё равно предстоит ждать. Хотите, я лучше расскажу о вас? Можно?

— Ну, если можете, конечно.

— Вы одиноки, жена ушла в 26-м году, и детей у вас нет. После института вы ни разу не меняли работы, и начальство вас уважает. При этом кандидатскую защитить не дали. Да, не дали. Вы могли защититься ещё после Косы Тузлы, но в таком случае претендовали бы на должность завотделом — место, которое было обещано другому. И вас прокатили на уровне предзащиты. Так? Дальше. Шансов сделать научную карьеру у вас нет. На материалах ваших экспедиций защитились уже шесть ваших коллег, и последняя защита состоялась в прошедшем марте...

— Посмотрели моё дело в отделе кадров? — не выдержал Карбасников.

— Кто же меня к нему пустит? — усмехнулась Ракитина. — К тому же в вашем личном деле записано далеко не всё.

— Что же там не записано, по-вашему?

— Например, что часть зарплаты вы отдаёте жене вашего товарища, погибшего в тундре три года назад. Руководство списало его смерть на нарушение инструкции по безопасности и на этом основании отказало семье в пенсии. Вы не согласились и втайне помогаете вдове личными средствами. К слову, совершенно напрасно.

— Почему это напрасно?

— Она ни в чём не нуждается. Раз в неделю к ней приходит один важный товарищ, который легко удовлетворяет все её запросы.

— Это неправда! Как вы можете! Так гадко про честную женщину!

— Я же не сомневаюсь, что она честная женщина. И, заметьте, ни в чём её не упрекаю. Она ведь обетов не давала. А помощь принимает, чтоб вас не обидеть.

Карбасников почувствовал себя раздавленным. Он отошёл от Ракитиной и, совершенно опустошённый, сел на стул у единственного окна. Он никак не мог взять в толк, почему эта женщина с лёгкостью говорит то, что не мо-

жет знать никто, кроме него самого. На секунду ему даже стало страшновато. В окне он увидел самолёт и механика при нём. Механик то влезал по маленькой металлической лестнице в кабину, то спускался и что-то искал в переносном ящике у самолёта. Потом снова взбежал по лесенке вверх.

Карбасников поднялся и снова подошёл к Ракитиной:

— Раз всё так складывается, зачем же нам лететь, скажите мне, уважаемая Татьяна Николаевна. Я понять этого не могу.

Ракитина посмотрела отсутствующим взглядом и задумчиво сказала нечто странное:

— Этого уже не остановишь. Мы полетим, и будем лететь, лететь и лететь, без остановки...

И вдруг совсем по-детски пригорюнилась, шагнула к Карбасникову и чуть было не заплакала у него на плече:

— Ведь знаю всё, знаю, и всё равно ужасно боюсь! Прямо как ребёнок!

Потом отстранилась, взяла себя в руки и прежним спокойным голосом сказала странные слова:

— Самое хорошее в нашем положении, уважаемый Михаил Николаевич, что печалиться о нас с вами будет некому...

В эту минуту дверь диспетчерской распахнулась. Вышел лётчик, вытирая большим мятым платком потное лицо и шею, за ним Михайлов. В раскрытую дверь слышался громкий голос диспетчера:

— Дежурный! Ну что у тебя с машиной? Через полчаса? Готовь, будем грузиться...

Когда погрузили вещи и мотор взревел, набрав обороты, Ракитина нагнулась и обняла Карбасникова за шею:

— Прощайте, Михаил Николаевич! Хороший вы человек! И ни о чём не заботьтесь! У нас с вами дорога предстоит длинная и прекрасная!

«Что она всё загадками говорит, в конце-то концов, — с досадой подумал Карбасников. — Всё-то у неё со смыслом, не по-простому. Вещунья, что ли, какая».

А когда через два часа полёта он увидел в иллюминатор неровную череду невысоких гор внизу и догадался, что под ними Ветренный пояс, вспомнил это слово: вещунья. Самолёт вдруг накренился и большим плавным кругом стал

забирать влево и влево, стремительно снижаясь к земле. Стало очевидно — самолёт падает...

Карбасников бросился к двери в кабину пилота. Его мотало от борта к борту, но он добрался и резко отворил дверь. Пилот сидел, свесившись головой на штурвал, и медленно заваливался набок.

— Товарищ лётчик! — крикнул Карбасников. — Мы же падаем! Мы падаем! Падаем!

Лётчик продолжал заваливаться набок...

Карбасников в отчаянии оглянулся. Ракитина спокойно сидела на своём месте и улыбалась странной виноватой улыбкой. Как будто знала о чём-то неведомом, да так и не решилась сказать.

4

Никитин решил, что теперь одной тревогой у них стало меньше. Погони не будет, и бояться больше не нужно. Да если погоня и была, теперь уже их не найти. Они стали отдыхать чаще и перестали прятаться. Шли километра три-четыре, выбирали скалу и, забравшись на самый верх, разжигали небольшой костерок из сухих веточек. Полчаса, иногда час сушили обувь и просто лежали на тёплом, высушенном на ветру мху.

Двигаться им становилось всё тяжелее и тяжелее. Ноги опухли. От нагрузки и постоянной сырости со ступней белыми безжизненными лоскутами сползла кожа. Никитин так и не мог смириться с болью, которую всякий раз испытывала Татьяна. Особенности пытки она испытывала, надевая после очередного привала высохшие после сушки у костра ботинки. Она не могла сдерживать стон, плакала, а он стискивал зубы и старался не смотреть в её сторону. А эти первые шаги после отдыха... Сплошная боль, словно босой и по стёклам...

Правда, через пять минут обувь снова намокала, и острая боль переходила в постоянную и тягуче-ноющую. А сознание заволакивала тугая серая муть равнодушия.

В блаженные минуты отдыха на горячем мху очередной скалы Никитин рассказывал Татьяне о реке. Так вдохновенно, как это делал Карбасников, у него не получалось. Но он видел, что рассказы придают ей сил и помогают идти. И он говорил-говорил про большой скальный выс-

туп-массив на самом берегу и что на высоте человеческого роста в скале есть пещера. Пещера неглубокая, но вполне достаточная, чтобы хранить там съестной припас, поскольку в пещере всегда прохладно. А то, что припас у них будет, он не сомневался. В лагере наверняка есть снасти для ловли рыбы, без этого на Севере серьёзные поисковики в поле не выходят. И рыбы-то он сумеет наловить столько, что и не съест.

У подножия скалы река делает плавный поворот. Здесь образовалась заводь, и к ней примыкает просторная полянка. Вот на этой полянке, возле кромки леса, выстроен экспедиционный дом, в котором они станут жить.

По словам Карбасникова, экспедицию планировалось повторить в следующем сезоне, поэтому в доме оставлена часть необходимых приборов для измерения, снаряжение для выходов в поисковые маршруты, одежда и запас питания.

Татьяна раз за разом выслушивала рассказы про реку и уже настолько отчётливо представляла себе это место, будто когда-то жила там сама. Однажды она прервала Никитина:

— Мы будем жить, и придёт экспедиция, что тогда? Нас снова арестуют?

Никитин никогда не думал об этом и теперь озабоченно молчал. На самом деле, что будет, если они встретятся с экспедицией? Ведь документов у них нет и вид просто ужасный.

— Думаю, мы договоримся как-нибудь, — сказал он. — Они же специалисты-полевики, а не НКВД. Не думай об этом.

— Помнишь, я спрашивала тебя в письме о судьбе родителей? Знаешь ли что-нибудь?

— Несколько раз писал, и однажды ответили: 10 лет без права переписки. И никаких подробностей — за что, куда отправили, живы ли? В бараке спрашивал у бывалых, и один ответил: «Шесть лет по зонам чалюсь, где только не был, а с такой пропиской никого не встречал. Порожняк тебе гонят...» Думаю, нет их в живых.

Однажды на исходе дня, после отдыха на скальной верхушке небольшого острова, они увидели далеко впереди сплошную зелёную линию. Линия пересекала их путь слева направо по всему горизонту.

— Вот она, река! — обрадовался Никитин. — Радость моя, мы, кажется, у цели!

Они шли до ночи без остановок и отдыха, и линия постепенно поднималась и поднималась в их глазах, пока не выросла в большой сосновый лес. Совершенно измученные, они вошли в лес и скоро остановились на берегу реки.

Да, это была их река. Никитин понял это сразу. Правда, она оказалась не такой уж большой, какой они её себе представляли, но быстрой и в длинных шумных перекатах. Только вот высокой скалы здесь не было.

Никитин разжёг костёр, и они до утра просидели без сил, прижавшись друг к другу, сушили разбитые, раскисшие от сырости ботинки и пили горячую воду с мелкими листочками брусники. На душе у обоих было пусто. Надо было бы радоваться. Только радость почему-то никак не приходила.

Утром Никитин принёс дров для костра, устроил для Татьяны ложе из сосновых и хвойных лап, застелил своей курткой и велел спать. Сам ушёл вверх по течению искать скалу и дом. Татьяна успела выспаться, вскипятила в ковшике воду и стала ждать Никитина. Он вернулся через несколько часов, усталый и злой. Скалы не было. Он молча попил воды, полежал и не вытерпел, снова ушёл на поиски, теперь по течению вниз. И только к ночи, едва передвигая ноги, Никитин вернулся к Татьяне.

— Я видел скалу, — сообщил он, скидывая ботинки. — Утром, утром пойдём туда. Мы дома... И мгновенно уснул.

Скала оказалась не та. Не было речного изгиба у её подножия, не было тихого заливчика и полянки с домом...

Никитин расстроился. Он никак не ожидал, что, оказавшись на месте после такого долгого и трудного пути, они никак не могут отыскать дом. И сколько ещё предстоит бродить по берегам, неизвестно. Река-то вон какая, без конца и края.

— Чего бродить зря, — предложила Татьяна. — Давай поднимемся на ближайшую вершину. Оттуда нашу скалу и увидим.

Ближайший к ним скальный выступ оказался не остrokонечным, а с маленькой неровной площадкой на самом вершине. Вытянувшись длинным острым хребтом, он плавно спускался к берегу. С востока, почти вплот-

ную к выступу, подходил лес. Между лесом и скалой ярко зеленело свежей мелкой осокой топкое болото.

Они вышли на хребет и тяжело, с остановками, поднялись на площадку. Площадка крошечная, с обрывистыми краями, засажена чайками и покрыта тонким ковром из мха. Мох с ночи напитался росой, легко сдвигается, ползёт под ботинком. Они огляделись. На западе, откуда пришли, простиралось болото без конца и края. Смотреть на него обоим было неприятно. Внизу у подножия скалы росли сосны. Вершины сосен раскачивались прямо под ногами, и это казалось чудным — смотреть на сосны сверху, как смотрят птицы.

Река важно и неторопливо стремилась к Белому морю, огибая скальные выступы. Они увидели один такой выступ, за ним второй...

— Андрюша, смотри, смотри! Вон, видишь: скала и пещерка, о которой рассказывал Карбасников! И лужайка на берегу! Это там! Там!

В эту минуту неожиданно с неба раздался рёв авиационного двигателя. Вынырнув из-за леса, над вершинами сосен прямо на них летел самолёт. Это казалось настолько неожиданным и нереальным, что Никитин растерялся. Сбежать со скалы времени не осталось, укрыться было невозможно...

— Они нашли нас! — закричала Татьяна. У неё началась истерика. — Нашли! Сволочи! Сволочи! Я не хочу обратно, не хочу!

Татьяна бросилась на грудь Никитину. От неожиданности он сделал шаг назад. Мох под ботинком сорвался. Он упал на колени, увлекая за собой жену; она навалилась, и последнее, что вспомнил потом, — ослепительная вспышка в глазах от удара лицом о камень и ощущение нескончаемо долгого падения в пропасть...

...Они не видели, как в трёх десятках метров от них самолёт врезался стойкой шасси в край скального выступа и развалился, как разваливается детская игрушка от сильного удара злой рукой. Двигатель в предсмертном рёве оторвался и по инерции со страшной силой воткнулся в болото. Кабина, обрывки фюзеляжа, обломки крыльев, как в замедленном кино, сыпались с уступа на уступ в узкое пространство между скалой и лесом. В самую топь...

Никитину снилось жаркое лето. Он с родителями на даче театральных деятелей под Москвой. Нечасто, но отцу удавалось вывозить их с мамой сюда на неделю-другую. Немилосердно палит солнце. Высоко-высоко в небе ходят кругами птицы. Он дремлет в высокой траве. Пора обедать. Тихонько, на цыпочках, подходит мама и ласково кличет: «Андрюшенька! Андрюша! Вставай, милый!»

Он слышит, но не встаёт. У них с мамой такая игра. Мама уходит и возвращается с ковшом тёплой воды. Теперь она балуется, каплет ему на лицо из ковша капельки воды. Капли собираются в ручейки и стекают на шею, на грудь и дальше ручейками бегут за воротник лёгкой рубашки...

— Андрюша, милый, отзовись! Ты можешь открыть глаза?

Он слышит голос. Это Татьяна. Голос далёкий, приглушенный, тревожный. Где он? Что с ним стало? Почему?

Сознание возвращается вместе с болью. Он не чувствует лица, не ощущает, есть ли у него руки и ноги. Только боль, одна боль заполнила всё его существо. Он чувствует воду. Вначале капли, потом тонкая струйка падает ему на лоб, стекает за ворот. Потом лёгкие Танины пальцы бегут по щекам, вытирают глаза и лоб.

— Андрюшенька, я знаю, что ты живой! Отзовись, открой глаза, открой!

Один глаз приоткрылся, а второй никак. Никитин видит в мутном облаке жену, высокие деревья за её спиной. Руки у неё в крови. И сама она в крови: лоб, подбородок, куртка на груди. Кажется, лицо её рассечено...

— Видишь меня? — Татьяна наклонилась к нему совсем близко. — Не говори ничего. Не сможешь. У тебя губы разбиты. Отдохни. Я сейчас.

Никитин видит, как она с усилием поднимается и, хромя, идёт к берегу. Потом снова чувствует на лице прохладу — это она намочила рубашку и приложила к его лицу...

«Господи, Господи, — думает Никитин. — Зачем ты позволил нам пройти мучительный путь, чтобы бестолково умереть у самой цели? Зачем?»

Поздно вечером, преодолевая острую боль,

еле слышно, разбитыми губами, он попросил Татьяну потрогать его ноги. Она осторожно подняла одну ногу, потом другую. Кивком головы указал на руки. И обе руки у него, хоть и с болью, но работали.

«Значит, позвоночник цел, — удовлетворённо подумал он. — Слава богу! Остальное приложится».

Ночью, когда Татьяна спала, съёжившись в калачик возле погасшего костра, он попытался встать. Вначале привстал на четвереньки, постоял, раскачиваясь из стороны в сторону, потом поднялся на ноги. В голове кружило, в глазах сверкали искры. Сделал шаг, ещё один и упал. Волоча непослушные ноги, ползком вернулся к костру. Он понял главное: двигаться сможет, сможет. Уже завтра встанет и как-нибудь пойдёт. Ему лежать нельзя, никак нельзя...

Назавтра еда у них закончилась, и ужинать пришлось всё тем же привычным кипятком с брусничными листьями, размачивая в нём кирпичной крепости сухари. Сухарей осталось всего пять. Стараясь не просыпать крошки, Андрей со вздохом завернул их в тряпицу. Они напились и решили, что следующим утром вполне хватит сил вернуться к скале, к самолёту, точнее, к тому, что от него осталось. У обоих болели руки и ноги, едва разгибались поясницы. Трудно было подняться и сделать первый шаг. Но серьёзных травм при падении удалось избежать. «Нужно расхаживаться, нужно терпеть!» — говорил Андрей, медленно, как старик, кружа вокруг костра в поисках веток.

— Там же кто-то летел, — тревожно говорила Татьяна. — Не по-христиански бросать людей просто так. Но я боюсь!

Обломки самолёта проломили в лесу небольшую просеку. В самом конце они обнаружили истерзанные страшной силой остатки фюзеляжа, лохмотья перепутанных тросов и разорванный в клочья грубый авиационный брезент в пятнах машинного масла. Однако сколько ни кружили они вокруг искорёженных обломков и в ближайшем лесу, тел пилота и пассажиров обнаружить не удалось.

— Такого не может быть! — говорил Андрей. — Где погибшие? Не мог же самолёт лететь сам по себе...

Никого им найти не удалось.

— Мистика какая-то, — ворчал Андрей. — Чудо! Рассказать кому — не поверят...

Никитин собрал в большой чемодан с оторванной наполовину крышкой документы и разбросанные вокруг бумаги и книги. И книг и бумаг оказалось много. С толстой ветки дерева, что в десяти метрах от просеки, снял заброшенный туда бесформенный рюкзак с оборванными лямками. Светло-коричневый, выдавший виды походный баул, принадлежавший, по всей вероятности, женщине, они обнаружили далеко от места катастрофы. Ничуть не повреждённый, он аккуратно стоял как раз на пути к дому. Какой силой его туда забросило, оставив при этом целёхоньким, представить себе было невозможно.

С великим трудом, несколько раз останавливаясь передохнуть и возвращаясь, они за несколько часов перетащили вещи на полянку, к дому, и долго лежали, пережидая, пока пройдёт боль в травмированных и не заживших ещё мышцах.

...В доме тепло. Но из углов и от пола веет настоявшейся нежилой стынью. Жарким огнём пышет печка. Она будто наскучалась без людей и теперь радуется, сияет. За печкой вдоль стенки аккуратно сложены в поленницу наколотые и сухие до звона дрова. Татьяна сварила макароны, сдобрила целой банкой тушенки, и они с Никитиным наелись до отвала и теперь лежат, и им лень даже разговаривать.

На стене дома, над полочкой, у двери Татьяна обнаружила маленькое зеркало и обрадовалась. Но только глянула разок, и вся радость пропала. При падении она рассекла лоб и щеку, повредила нос. Теперь останутся шрамы, печалится она. И как с таким лицом дальше жить молодой женщине, пусть и замужней, неизвестно.

Никитин и вовсе себя не узнал. От правого виска и до подбородка лицо его оказалось рассечено, будто мечом. Даже губы располовинены на четыре неравные доли. Это не считая многочисленных сильных повреждений в разных других местах.

— Буду зарастать до ушей, — объявил он Татьяне. — Иначе в городе дети станут шараться от меня, а режиссёры позовут в кино чудищ играть.

Несколько дней они не выходили за порог, только ели, отсыпались и лечились. В доме нашлись одежда и обувь, обнаружилась даже аптечка, и Татьяна что-то такое отыскивала в ней, смазывала раны, пыталась залечить сбитые в кровь ступни ног.

Никитин принялся за книги. Некоторые книги немного отсырели, обложки покоробились. Никитин не обращал на это внимания.

— Ты посмотри, какая редкость, — поминутно звал жену. — «География математическая. В двух частях». Ого! 1844 год издания! А это «Новый учебный географический атлас» Ильина! Нет, ты только посмотри, Таня! Тут и «Лекции по физической географии первого и второго выпусков». И год, год издания 1903-й. Настоящее богатство! А вот «Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа» 1899 года...

— Если засесть и всё это усвоить, настоящим географом станешь, — радовался он. — А времени для этого у нас предостаточно. Будет, будет чем заняться...

С тяжёлым чувством он разбирал документы. Паспорта, удостоверения, какие-то справки... Всё, что удалось собрать на месте крушения и обнаружить в бауле и чемодане.

— Нет, нет, я не могу на это смотреть, — отмахнулась Татьяна. — Пожалуйста, пожалуйста, без меня...

И вышла из дома на берег, сидела там, печально глядя на бегущую вниз воду.

Как ни старался Никитин разобрать что-либо в документах, но так и не смог. Странички смялись и слиплись, превратившись в бурый комок. Он нашёл бумажный пакет и убрал бумаги на самую дальнюю полку.

Настоящим открытием, озадачившим Андрея и Татьяну, стало содержимое баула. Сверху лежало письмо:

«Товарищи! Если вы читаете это письмо, значит, нас уже нет. Мы готовы к этому. Мы подчиняемся великому Принципу Ротации. Ротация — это перемещение, замена. Это нормальный, естественный процесс. Без него история цивилизации мертва. Вы заменили нас. Мы заменим других. С этого момента один из вас Карбасников Михаил Николаевич, географ, научный сотрудник Географического института в Ленинграде; второй Ракитина Татьяна Николаевна, фор-

мально — врач, исследователь; строго секретно — эксперт Спецотдела ГПУ. Вам предстоит подготовиться, изучить программы работ и к лету будущего года предъявить результаты:

а) по общим географическим исследованиям Ветреного пояса — научному сообществу и

б) специальные, по теме «мест силы» — Г. Бокио и А. Барченко в Спецотдел ГПУ. Тел. №...

Экспедиция придёт в июне следующего года. И забудьте нас! Ракитина Т.Н.»

Никитин отложил письмо и, оглушенный прочитанным, пытался собраться с мыслями. Ноющей, мучительной болью заломило висок. Он вышел на берег к Татьяне, и они долго сидели на перевёрнутой вверх килем старой поморской лодке, неведь как зятанутой сюда, в речные верховья.

«Это невероятно! — удручённо думал о случившемся Никитин. — Значит, этот чудак Карбасников и Ракитина были на борту несчастного самолётника. И где они теперь? Что это за ротация такая бесчеловечная, через гибель? И теперь мы с Татьяной должны стать Карбасниковым и Ракитиной? Перевоплотиться? Как это можно? Кто же задумал эту чудовищную и коварную мистификацию? Кто они? Белые заключённые. Но откуда Ракитина об этом узнала? Ничего не понимаю...»

Жизнь в доме на глухом берегу в предгорье Ветреного пояса пошла теперь по жёсткому распорядку. С утра и до вечера Никитин с Татьяной сидели за книгами, делали выписки, конспектировали, иногда спорили. В бауле Ракитиной обнаружили два справочника — по практической медицине и фармакологии, и Татьяна штудировала их с особым рвением, время от времени злясь себе под нос на эту «проклятую латынь».

Программы полевых изысканий, подготовленных Карбасниковым и Ракитиной, оказались конкретны и точны. На карте пунктирно проложены будущие маршруты, указаны параметры измерений, которые необходимо провести, и перечень данных, подлежащих сбору, систематизации и анализу по приложенной тут же методике.

Недели через три-четыре они вышли в первый маршрут. И потом до поздней осени, пока

на берег не упали заморозки и первый снег, а на реке появились ледяные закраины, ходили в горы, делали замеры, описывали, составляли данные в таблицы.

Никитин с первых дней заставил себя вести подробный дневник. Он даже засыпал с карандашом. Он записывал всё — погоду, настроение, увиденное в лесу и горах, соображения по поводу вычитанного в книгах, мысли и ощущения. Такой же дневник он поручил вести и Татьяне.

Вначале неохотно, с некоторой даже неприязнью, как к занятию лишнему, обременительному, но потом со всё большим интересом она делала каждодневные записи, учась прислушиваться к себе, улавливать и фиксировать карандашом собственное душевное настроение. И однажды почувствовала то, о чём говорил Андрей перед побегом. Вот эта запись:

«Мы уже возвращались с маршрута и сели отдохнуть на скальный выступ посреди болота. Андрей сразу лёг. Он сильно вымотался за последние дни. Он ходит и работает в маршрутах больше, чем я. Иногда просто прокладывает мне дорогу, ищет, где потвёрже и посуше. И вот я сижу и чувствую, как некая невидимая энергия заполняет моё существо. Уходит усталость, и я отчего-то радуюсь как дитя. Радость, радость заполняет моё сердце! Мне хочется растолкать мужа и кричать: «Андрюша, милый! Мы выжили! Мы прошли этот ужасный путь! Мы живы! Как хорошо, Господи, спасибо Тебе!»

Что происходит? Ещё пять минут назад я была угнетена и раздавлена усталостью от работы и бесконечной ходьбы, а теперь я снова энергична, молода и сильна! У меня так много нерастратченных сил, что хочется плакать от счастья! Вот, вот оно, это «место силы»!

Экспедиционный съестной припас они научились экономить. Никитин нашёл в пристройке к избе старую рыболовную сеть, выставил её в заливе, и она каждый день приносила то шуку, то с десятков окуней и плотиц, то редкого и особенно вкусного сига. Кроме того, возвращаясь с маршрутов, они помаленьку наносили грибов, часть которых Татьяна сушила на печи, а волнушки и грузди солила; кроме того, за осень они собрали и намочили на зиму два больших бидона ягод.

В середине октября выходить в маршруты стало опасно. Целыми днями валил хлопьями снег и свистел холодный ветер с моря. Ноги скользили по камням, намокала одежда, покрываясь к вечеру коркой льда.

Однажды утром Никитин привычно посмотрел в окно и объявил Татьяне, что сегодня они останутся дома. Полевой сезон закрыт. Сообщение Татьяну только порадовало. Это было важно ещё и потому, что к ней вернулись тягучие ножные боли. А в обед Никитин так же торжественно открыл сезон камеральный, объявил, что начинается пора лабораторной обработки полученных данных.

Занятия прежде неизвестным, новым приносили им всё новые и новые знания, дарили открытия и истинную радость. Такой радостью стала реальность «мест силы». Они обнаружили вдруг, что, возвращаясь вечером с маршрутов по некоторым профилям, они чувствовали себя такими же бодрыми, какими выходили утром. При этом часто забывали о взятой с собой пище. Им хватало на день трёх-четырёх пригоршней сорванной брусники или морошки. Из других маршрутов, напротив, возвращались совершенно разбитыми, еле-еле волоча ноги.

Все эти места они выделяли координатами на карте и описывали, подкрепляя таблицами самочувствия, показателями артериального давления до выхода на маршрут, в «местах силы» и после, а также изменениями частоты пульса и прочими данными. Таблицы, описания, столбцы данных за зиму выросли в тома отчётов, по объёму достойных работе приличной экспедиции.

Однако бывали дни, когда сутками за окном дома выла пурга. Никитин объявлял Татьяне выходные. Она откладывала бумаги и чего-нибудь стряпала. Ей хотелось испечь Никитину настоящий поморский рыбник. Она читала о нём в какой-то книге ещё дома. Но пирог с рыбой получался громоздкий, угловатый. Тесто в нём не пропекалось, приводя Татьяну в отчаяние.

Спали на большой двуспальной кровати ногами к горячему боку печи. Вообще-то, в экспедиционном доме все кровати оказались разборные, солдатские, на стальных сетках. Андрей связал две из них, сколотил из досок настил, и получилась большая семейная кровать с матра-

цем, набитым пахучим сеном. Однажды Татьяна сказала:

— Вот вернёмся в большой мир, и ты увидишь, как много вокруг красивых женщин. И тогда подумаешь: «Зачем мне эта порченная и побитая, чтобы проводить с ней жизнь?» Да?

Татьяна совсем рядом, наклонилась над его лицом, и прядки волос щекотно касаются его губ и носа, не дают спать.

— Тебе снова захотелось пожалеть себя и поплакать? Ты же взрослая серьёзная женщина. Тебе радоваться нужно. А я? То-то красавец явится в большой мир! Все женщины к его ногам! Рёбра и ключицы поломаны, лицо перекошено, губы — не два, а четыре пельменя. Если побриться — просто чучело какое-то! Это ты скорее к другому сбежишь. Стыдно будет молодой и красивой на людях показаться. С таким Квазимодо...

— А мне не нужно ни на каких людях показываться, — сказала она серьёзно. — Я хочу только с тобой, вдвоём. Ты меня не бросишь? Обещай.

— Не брошу, десять раз уже обещал.

— А ты в одиннадцатый пообещай. Чтобы я спокойной была.

Он прижал её к себе, подоткнул одеяло под бок, чтоб не натянуло холодом от двери, и сказал просто:

— Вот так и буду держать тебя здесь на реке и в большом мире. И не отпущу.

Февральская, а за ней и мартовская пурга создавали проблему. Входную дверь в доме устанавливал явно не северянин-полярник. В полярных домах двери всегда открываются вовнутрь. Здесь же она открывалась наружу. И теперь её за ночь заметало так, что отрыть утром бывало истинным мучением. Никитин помаленьку освобождал дверь, приносил новую охапку дров и садился за рукописи. Ему хотелось писать.

Первой книгой, в соавторы которой он пригласил Татьяну, стало практическое руководство для путешественников и туристов «Как выжить на северном болоте». Насмешки жены, мол, кому, кроме них, может понадобиться для жизни болото, или более того — её угрозы получить новый срок теперь «за пособничество в побеге...», он отклонил. Рукопись получилась со-

лидная, с личными примерами, красочными описаниями и ссылками на опыт.

Вторую книгу Никитин написал для детей. Она называлась «Северный Робинзон». Герой Никитина, мальчишка-подросток назло родителям, которые его не понимают, уходит в лес и несколько дней живёт там, питаясь ягодами и грибами и приучаясь выживать в диких условиях северного леса. Получилось то же руководство по выживанию, только основанное на психологии подростка и изложенное сюжетно, языком художественной прозы.

Третья книга Никитина «Год на Северной реке» описывала их жизнь на берегу. Она содержала пейзажные зарисовки, лирические отступления, точные фенологические заметы и философские размышления зрелого, много испытавшего человека. «Год...» особенно понравился Татьяне, для которой чтение руководств по выживанию не приносило ничего, кроме тягостных воспоминаний, моральной и даже физической боли.

Однажды ночью в мае вниз по реке с грохотом пошёл лёд. Они вышли на берег и смотрели на редкое и завораживающее зрелище. Лдины, обгоняя друг друга, сталкивались, крошились, мощно срезали острыми краями прибрежный кустарник и деревья и уходили всё дальше и дальше в низовья к Белому морю.

С юго-запада, с Балтики, с тёплых и тучных европейских полей караванами на Север прошли косяки гусей. Острокрылые, быстрые кулички и утки целый день шныряли по берегу залива, что-то выискивали, гонялись друг за другом и иногда дрались. Кулички жили на ближнем болоте за скалой. На мелководе им всё время нужно было что-то найти и выковырнуть длинным острым клювом.

Никитина впечатлил нерестовый ход щуки. Он никогда не видел, чтобы так много речных хищниц собиралось в одном месте. Щуки ходили на мели под самым берегом, раскачивали водоросли толстыми тёмно-коричневыми боками, тёрлись друг о друга и стремительными бросками исчезали в глубине, чтобы через минуту появиться вновь...

Никитин достал из рюкзака рукопись «Года на реке...» и дополнил одну из глав подробным

описанием удивительного и редкого для человеческого глаза зрелища.

...Однажды поздно вечером Татьяна вышла на берег помыть посуду и быстро вернулась в дом. Вид у неё был испуганный.

— Там голоса, — сказала она почему-то шепотом. — Какие-то люди!

Они вышли и вскоре увидели несколько груженых лодок, десятка полтора людей в них, выгребавших против течения прямо в их залив, к дому. Молодой мужчина в очках и с маленькими чёрными усиками над пухлой, как у мальчишки, губой первым прыгнул на берег и протянул Никитину руку:

— Начальник научной экспедиции Зеленков Василий. С кем имею честь?

— Карбасников Михаил Николаевич.

Протянула руку и Татьяна:

— Ракитина Татьяна Николаевна.

Зеленков оторопело молчал, переводя взгляд с Карбасникова на Ракитину и обратно.

— Простите, вы кто? — переспросил он и пальцем подоткнул очки на переносицу.

— Научные сотрудники из Ленинграда Карбасников и Ракитина, — повторил Никитин. — Предъявить документы, к сожалению, не сможем. Документы испорчены.

— Вы же погибли прошлым летом, — сказал Зеленков. — Об этом напечатали даже в «Правде» и сообщило радио. Авиакатастрофа...

— Да, авиакатастрофа, — спокойно ответил Никитин-Карбасников. — Самолёт разбился, пилот погиб, нас крепко изувечило, но выжили. Как видите.

Вокруг собрались члены экспедиции. Зеленков повернулся к ним и радостно прокричал:

— Товарищи, товарищи! Послушайте! Это чудо! Двое наших коллег прошлым летом летели для участия в экспедиции. Самолёт упал, пилот погиб, а они выжили. Это настоящее чудо, товарищи!

— А почему же экспедиция не пришла? — спросил Никитин. — Мы ждали.

— На выходе из Северной Двины, на траверзе острова Мюдьог, судно попало в сильный шторм и получило повреждение, — сообщил Зеленков. — Кроме того, потеряли часть оборудования. Шторм продолжался две недели, что

совсем не характерно для этого времени года. Руководство приняло решение перенести выход на следующий год. Считаю, это правильное решение, — добавил он, как бы извиняясь. — Вы, Михаил Николаевич, человек бывалый и понимаете, подобное начало никогда не сулит ничего хорошего в будущем поле. Случившееся с вами только подтвердило известное правило.

Началась разгрузка лодок. Стало оживлённо и весело. Полевики радостно обсуждали удивительную новость о чудесном спасении. Среди членов экспедиции оказался повар, и Зеленков поручил приготовить торжественный ужин в честь прибытия на базу. Тут же запыхал большой костёр, и началось приготовление к празднику.

— Я по-человечески не могу и даже не имею права оставлять вас ещё на один сезон, — сказал Зеленков. — Вы и так уже год находитесь в поле. Завтра проводники-поморы пойдут обратно, и вы отправляйтесь с ними. В устье реки ждёт наше судно. Через три-четыре дня будете в Архангельске.

Они втроём сели за стол, Никитин расстелил карту и в общих чертах рассказал о маршрутах и проделанной работе. Стопы отчётов, таблиц и аналитических выкладок поразили Зеленкова.

— Вы нам-то хоть что-нибудь на Ветреном поясе оставили? — шуточно воскликнул он. — Хоть сейчас домой возвращайся!

Утром, провожая Никитина-Карбасникова с Татьяной к лодке, Зеленков подал несколько бумаг. На одной из них Никитин прочитал:

«Свидетельствую, что податели сего являются членами научной экспедиции, учёными Карбасниковым М. Н. и Ракитиной Т. Н. В результате авиакатастрофы документы их были испорчены (залиты кровью) и уничтожены (сожжены) мною как не подлежащие дальнейшему использованию.

Всем партийным, советским и хозяйственным органам прошу оказывать Карбасникову М. Н. и Ракитиной Т. Н. всяческое содействие.

Начальник научной экспедиции Зеленков В.»

Вторая бумага оказалась длиннее.

«Секретарю Архангельского комитета ВКП(б) тов... — прочитал Никитин. — Податели сего являются нашими коллегами, научными сотрудниками, потерпевшими авиацион-

ную катастрофу в районе Ветреного пояса летом прошлого года. Они не только выжили, но совершили настоящий научный подвиг. Будучи травмированными, не имея возможностей для полноценного излечения, они, тем не менее, осуществили за один сезон громадный комплекс исследований, имеющих важнейшее государственное значение. Убедительно прошу вас обеспечить им возможность проживания и отправки в Ленинград, а также в выдаче утраченных в катастрофе документов. Испорченные документы уничтожены (сожжены) мною лично.

Руководитель экспедиции В. Зеленков».

— Как вы понимаете, без этих бумаг вам будет трудно, — сказал Зеленков. — Как только окажетесь в городе, немедленно идите в партийный комитет. Этот человек курирует науку и участвовал в наших проводах. Он поможет.

Они обнялись, и проводники оттолкнули лодки от берега.

— По течению-то шибче будет, — сказал один. — Теперь побежим...

— Ты за камнями давай посматривай, — хмуро откликнулся другой.

Берега, скалы и лес — вся привычная за год и такая близкая картина на глазах стремительно уплывала куда-то назад, в прошлое.

Часть третья ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Я верю, что существует не «возмездие», а необходимое следствие наших действий, и стараюсь всячески убедить в этом тех, кто жалуется на несправедливость судьбы».

Елена Шиповская,
«Исповедь Рыцаря Света. Воспоминания».

В вестибюле комитета партии Никитин строгим голосом потребовал у дежурного милиционера вызвать помощника партийного секретаря. Он сознательно употребил это слово — «вызвать», а не «пригласить». Опыт посещения наркоматов во время журналистской работы подсказывал Никитину именно такой стиль поведения. Просителей в таких учреждениях не особенно жалуют.

1

Милиционер оторопело смотрел на странную пару, с коричневыми от загара лицами, в обтрёпанной походной одежде и не стриженными, наверное, целый год. Наконец он позвонил, и скоро молодой человек в полувоенной форме сбежал к ним по лестнице и так же оторопело, как и милиционер, стал смотреть на посетителей.

Никитин подал бумагу Зеленкова и таким же строгим начальническим голосом попросил доложить секретарию тотчас. Поминутно оглядываясь, помощник убежал наверх. Через минуту он вернулся и пригласил Никитина и Татьяну.

— Как же так, товарищи? Не предупредили, не доложили? — хозяин кабинета шёл навстречу, широко раскинув руки, будто хотел обнять.

— На Ветреном поясе телефона пока нет, — пошутил Никитин. — Мы прямо с пристани.

— Вижу, вижу. Герои, молодцы! Приятно удивили. Сейчас мы вами займёмся. У вас ведь ничего нет, ни средств, ни одежды, так? И про документы тут Зеленков пишет. Сейчас, сейчас...

Он позвонил, и тут же явилась какая-то женщина.

— Распорядитесь с товарищами: проживание, питание и всё, что положено. Завтра с утра сразу ко мне.

У подъезда ждала машина. Они ехали недолго и скоро оказались в гостинице, оставили вещи, и женщина отвела их в другое крыло. В небольшой аккуратной комнатке они с удивлением обнаружили парикмахерскую, а за ней ванную комнату. После того как постриглись и помылись (Ни-

китин разрешил лишь чуть укоротить и подравнять бороду, которая отросла до груди), в раздевалке нашли новенькое бельё, сорочки, просторные халаты, похожие на больничные... Откуда всё взялось, не понимали они. Странно было осознавать происходящее, будто стали участниками придуманной кем-то чужой жизни. Томило предчувствие, что жизнь эта сказочная в любую минуту может закончиться.

На следующее утро в соседней комнате ждал фотограф. После него та же женщина отвела в буфет. И снова они в главном кабинете. Хозяин радушно развёл руками:

— Вот! Так и только так должны выглядеть настоящие герои-учёные, наша гордость!

Он пригласил сесть и сообщил, что звонил о возвращении в Москву («об их находке», — добавил он и лукаво улыбнулся), в Академию наук и ЦК партии. Получено разрешение задержать их в Архангельске на два-три дня для участия в важных мероприятиях. «Господи, — испугался Никитин. — При чем тут Академия наук, а ЦК-то зачем!»

— Вы понимаете, мы не можем упускать такой случай. Наши советские учёные жертвуют жизнью ради любимой страны, тратят здоровье, рискуют жизнью, чтобы сделать партию и народ ещё более сплочёнными и сильными перед лицом мирового капитала. Сегодня в 16 часов соберём городской актив и пригласим вас выступить. Завтра выйдем в университет, поговорим с молодёжью...

Они рассказали о своих злоключениях, о жизни на базе экспедиции, исследовательской поисковой работе и больших перспективах Ветреного пояса как объекта для изучения.

На столе раздался звонок. Хозяин поднял трубку и сказал коротко: «Пусть входит».

Вошла женщина с папкой, чернильницей и ручкой. Она разложила всё это на столе и достала из портфеля новенькие паспорта.

— Распишитесь вот здесь, — сказала она.

Оба они расписались.

— А откуда у вас наши данные? — спросил Никитин. — Простите, я имею в виду даты рождения, адреса прописки и так далее. Мы же...

— Это наша забота, — ответила женщина коротко.

— Есть ещё один маленький вопрос, — заго-

ворщицким голосом сообщил хозяин кабинета. — В приёмной вас ждут.

В приёмной встретила пожилая дама с усталым лицом. Она провела Никитина-Карбасникова и Ракитину по коридору и пропустила впереди себя в кабинет с надписью на табличке «Сектор КРК».

— Что такое КРК? — спросил Никитин женщину.

— Контрольно-ревизионная комиссия, — ответила женщина. Она села напротив и сказала:

— Хочу извиниться за вопросы, но прошу ответить прямо. Вы женаты? — спросила она Никитина.

Никитин хотел было сразу ответить «да» и пошутить, что вот же она, жена, рядом сидит, вы разве не видите. Но вовремя вспомнил, что он теперь не Никитин, а Карбасников, а Карбасников не женат, сам ему об этом говорил.

— Разведён в 1926 году, — ответил Никитин.

— А вы замужем? — женщина спросила Татьяну.

— Нет, — ответила она и тоже чуть не рассмеялась от нелепой ситуации, в которую они, похоже, впутываются на полном серьёзе.

— Вы понимаете сложность и вашего, и нашего положения, если посмотреть на неё с большевистской точки зрения? — начала женщина. И, не дожидаясь ответа, продолжила: — Завтра и все последующие дни вам придётся встречаться с людьми и с журналистами. Могут быть вопросы, в том числе неприятные. Скажем, как вы спали целый год в лесу — вместе или порознь?

— Может, вы не знаете, но спать в лесу теплее вместе, — заметил Никитин.

Строгая женщина пропустила замечание мимо ушей.

— Не можем же мы показать на вашем примере, что передовые учёные нашей страны допускают сожительство без брака, пусть даже в условиях чрезвычайных.

— И как нам быть? — спросил Никитин.

— Просто, — ответила женщина. — Стать мужем и женой. Вступить в брак. По желанию, разумеется. К слову, можете оставить прежние фамилии. Такое законом разрешается.

— На это нужно время. Мы не успеем.

— Почему не успеем, — сказала женщина. — Если вы согласны, то успеем.

Она набрала номер и спросила:

— Маргарита Ивановна подошла? Пусть входит.

Вошла женщина, расположилась за другим столом, и через пятнадцать минут Никитин и Татьяна стали мужем и женой во второй раз. Никитин видел, как трудно Татьяне выдерживать официальный тон, как нарочито закашлялась она, чтобы не рассмеяться на дежурный вопрос, согласна ли стать женой товарища Карбасникова.

...Когда вечером разделись и утонули в белоснежных простынях огромной гостиничной кровати, Никитин сказал:

— Выпить бы по такому случаю. Не каждому удаётся дважды жениться на одной и той же женщине. Причём затратив на это каких-то пятнадцать минут...

Татьяна хотела обидеться и ответить чем-нибудь едким, но не успела. Никитин уже спал.

Утром Татьяна выглядела невыспавшейся и сказала, что ей очень тревожно. Она боится. Вся эта шумиха с возвращением, приёмы, встречи в коллективах, не дай бог, статьи в газетах приведут к тому, что очень скоро обман вскроется. И ведь тогда новый позор ареста и лагерь.

— Да, необходимо быть очень аккуратными. И для начала не воспринимать случившееся как обман, — сказал Никитин.

— Как же воспринимать, если мы носим чужие имена и живём жизнью других людей?

— Вспомни, что написала Ракитина: ротация, великий принцип ротации. Есть какое-то неведомое нам знание. Оно и направляет наши поступки.

— Я тебя плохо понимаю.

— Посуди сама: кто мог знать, что мы бежим из лагеря, кроме повара Петра? Никто. А Ракитина обращалась именно к нам. Она будто заранее знала, что мы вдвоём окажемся точно там, где упадёт самолёт. Откуда у неё это знание? И ведь это не обман. Это случилось в реальности на наших глазах. Какое-то неведомое, какое-то запредельное знание. Я читал, будто за границей ведутся опыты в этом направлении. Наверное, есть такое и у нас. Счастье моё, не бойся и не думай так.

— А что же думать обо всём этом?

— Ракитина сообщила, что она эксперт Спецотдела ГПУ. Что это за Спецотдел, чем занимается? Одно ясно: то, что произошло, никакая не случайность, и нам не следует ни в чём сомневаться. Есть Спецотдел, значит, есть спецоперации. Мы её участники, вот и всё. «Места силы», необъяснимые ощущения, о которых мы помним, — всё это не игра и обман, а вполне серьёзно, очень серьёзно. Я уверен, какая-то незримая и невидимая сила ведёт нас. Только вот куда — не знаю.

На следующий день газета «Правда» вышла со статьёй «Научный подвиг советских учёных». Автора заметки они не видели. Из текста нетрудно догадаться, что источником сведений оказался радушный хозяин главного городского кабинета. Бесконечно употреблялись слова «научный подвиг», «настоящий образ советского учёного», «задачи партии и правительства». Трижды не к месту поименован товарищ Сталин, «осуществляющий постоянную заботу о...».

2

Три дня в Архангельске прошли как во сне. Шум бесконечных речей, интервью, здравниц и постоянное многолюдье тяготили. Однако в череде парадных мероприятий обнаружилась и польза. Никитин-Карбасников и Татьяна привыкли не только к новым именам, парадным костюмам, но и вполне освоились в положении учёных, вернувшихся из трудного и опасного путешествия. Ведь так оно и было на самом деле.

На третий день их снабдили всем необходимым в дорогу, билетами, деньгами, питанием и отправили в Ленинград. На специальном заседании президиума Академии наук планировалось заслушать их доклады.

Вёл заседание президент академии Карпинский. Никитин хорошо помнил статью Карпинского в одной из книг, обнаруженных в чемодане Карбасникова, — «Общий характер колебаний земной коры в пределах Европейской России». Зимой он проштудировал статью, она его впечатлила, и теперь обращался в докладе напрямую к автору, называя его без академических церемоний, по имени, Александром Петровичем.

В 1894 году Карпинский впервые применил эволюционную теорию для воссоздания картины изменений геологических условий и построил целую серию палеогеографических карт. Он полагал, что геология уже подошла к тому рубежу, когда от бессистемного накопления фактического материала надо приступать к его обобщению, к построению на его основе схем эволюции земной коры. Теперь уже Никитин-Карбасников настаивал на этом, предлагая в качестве модели древнейшие на планете кряжи Ветреного пояса.

В своё время Карпинский доказал, что Восточно-Европейская платформа имеет двухъярусное строение, а на юге прослеживается «кряжевая полоса». Никитин-Карбасников утверждал в докладе, что подобную «кряжевую полосу» представляет собой и Ветренный пояс, только на более древнюю и малоизученную.

Доклад Никитина сложно было назвать строго научным. Хоть он и изобилдовал ссылками на работы Карпинского, Зябловского и Ильина и был снабжен сухими статистическими материалами. Он содержал красочные личные описания, картинки природы и точные фенологические приметы.

Сообщение врача Ракитиной также оказалось ёмким и очень конкретным, хоть и не содержало обобщений и выводов, основанных на мыслях предшественников. Академикам последнее было понятно вполне: предшественников по этой теме у неё просто не было.

После выступления, сидя в маленьком зале президиума, они с Татьяной поняли по настроению членов президиума, что доклады произвели хорошее впечатление. После заседания Карпинский пожал руку Никитину, признавшись, что, к своему стыду, не ожидал от рядового экспедиционного географа столь значительных выводов и что такая самоотверженная научная работа не может оставаться без высокой оценки.

Особенно понравился доклад представителю СНК СССР, куратору академии, который настроился, вероятно, на унылое, сугобо сухое повествование. Он вслед за Карпинским благодарно тряс руку Никитина и хлопал его по плечу.

На выходе из академии Никитина и Татьяну остановил член президиума Академии наук,

крупный мужчина с крепко посаженной бритой головой. Лукаво улыбаясь, он поздравил с успехом, что-то говорил о Географическом институте. Это был декан Ферсман. Никитин-Карбасников не узнал его...

Через несколько дней Никитину позвонил неперменный секретарь Академии наук Волгин. Он сообщил, что есть решение президиума направить товарищей Карбасникова и Ракитину в академический санаторий, где они пройдут глубокое медицинское обследование и, при необходимости, получат лечение у лучших докторов. Если этого не понадобится, просто отдохнут после перенесённых испытаний. Решение о дальнейших занятиях будет принято после отпуска.

Они не могли знать, что после заседания президиума Карпинскому позвонил Ферсман и рассказал о странном разговоре с Карбасниковым.

— У меня сложилось впечатление, Александр Петрович, что он меня не узнал, — сказал Ферсман. — Смотрел как-то странно, будто впервые видел. Надо бы по-хорошему обследовать их докторами.

— Как бы мы с тобой смотрели, Александр Евгеньевич, грохнувшись с неба на аэроплане? Кого бы узнали? Ты что, сомневаешься в качестве их работы?

— Ну что ты! У меня рабочий в Хибинах с обрыва сорвался, так пока везли в больницу, имя своё вспомнить не мог. Но обследовать надо. Работы впереди много, а кадры ценные.

— Хорошо, устроим. Сейчас дам поручение.

Перед отъездом в санаторий Татьяна позвонила в Спецотдел ГПУ по телефону из письма Ракитиной.

— Вы где? — спросил мужской голос. — Доклад у вас в письменном виде? За вами заедут.

В неприметном доме без вывески её провели в большой кабинет. За столом сидел человек в гимнастёрке без петлиц и курил. На столе громоздились горы папок. Книги, раскрытые на нужных страницах, и просто стопками лежали и справа и слева от него.

— Я буду говорить только с товарищами Бокием или Барченко, — сказала Татьяна.

— Я Александр Барченко, — ответил мужчина, продолжая курить. — Вы что же, Татьяна Николаевна, не узнаёте меня?

— Извините, товарищ Барченко. Я и Ленинград-то не сразу узнала. После всего...

— Понимаю, понимаю, читали. Во как вас изувечило, даже трудно сразу признать! И хромота, и лицо...

— Могли бы не говорить этого. Я всё-таки женщина.

— ...и характер.

Татьяна положила на стол толстую рукопись доклада и продолжала стоять, ожидая приглашения сесть. Приглашения не последовало.

— Как вы себя чувствуете после экспедиции? — спросил Барченко.

— Плохо, — ответила Татьяна с раздражением. — Я оказалась не готова к подобным испытаниям. Решением президиума Академии наук нам с мужем предложено выехать в санаторий для углублённого медицинского обследования и излечения.

— Хорошее решение, — сказал Барченко. — Вы лечитесь, а мы будем изучать это, — он кивнул на доклад. — Потом примем решение о вашем дальнейшем использовании. Если понадобится, вызовем.

...Через две недели утром в палату постучал главный врач санатория. Халат его был распахнут, докторская шапочка съехала набок. Он явно спешил.

— Поздравляю! От всей души поздравляю! Это заслуженно! Такой подвиг!

В руке главного врача они увидели газету «Правда». Радостный, возбуждённый, он протянул газету Никитину. На первой полосе в колонке официальных правительственных сообщений Никитин прочитал: ВЦИК СССР наградил учёных, географа Карбасникова Михаила Николаевича орденом Ленина и врача Ракитину Татьяну Николаевну орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, за выдающийся вклад в науку им присвоены научные степени докторов наук без защиты.

Медицинское заключение с документами о выписке из санатория Карбасникову и Ракитиной на руки выдано не было. Содержание наглухо запечатанного конверта с лиловым штампом предназначалось не им, а «направляющей организации». Разумеется, в тот же день полу-

чили его и в лаборатории Глеба Бокия, в недрах которого самостоятельно и строго автономно существовал Спецотдел. Полстраницы мудрёных медицинских терминов венчало заключение, из которого следовало, что «...указанные тт. Карбасников и Ракитина после перенесённых сильнейших травм с частичной потерей памяти и стресса в дальнейшем не могут быть использованы в экспедиционных условиях». Им предписывается восстановительный период (по меньшей мере, до полугода), на протяжении которого рекомендовано «воздерживаться от поездок и мероприятий, способных вызвать физические нагрузки и нервное напряжение».

Через полгода президиум и аппарат Академии наук СССР, в котором в должности советников служили теперь Карбасников и Ракитина, перевели в Москву. В газетах опубликовали сообщение о вскрытии заговора против великого учения Маркса-Ленина-Сталина в недрах ОГПУ. В сообщении называли имена Г. Бокия, А. Барченко, которые создали тайную организацию «Единое трудовое братство» для изучения древней науки «Дюнкор». В сообщении мелькали непонятные никому определения «оккультизм», «теософские доктрины», «ложе мартинистов» и прочие.

Газетное сообщение не вызвало интереса. Известия о заговорах то тут, то там появлялись регулярно.

Карбасников и Ракитина ждали неприятностей. Татьяна собрала в сумку смену белья, кое-какие припасы на первое время, — мало ли придут ночью, и забудешь что-нибудь впопыхах. Но прошла неделя, месяц, никто не приходил, и они выдохнули свободно: кажется, на этот раз пронесло.

Вскоре страна узнала имя нового писателя. «Писатель-натуралист, писатель со своей темой, с неповторимым взглядом на природу и человека», «писатель-путешественник», «наш Сетон-Томпсон» — так именовали его в газетах. Писателя звали Михаил Карбасников. В лучших издательствах страны вышли его книги. Посыпались приглашения на встречи с трудовыми коллективами фабрик и заводов, в студенческие аудитории и школы. Книги «Северный Робинзон», «Как выжить на северном болоте» и особенно «Год на северной реке» пользовались

невероятной популярностью. Их тираж вскоре превысил миллион экземпляров.

Писатель Михаил Карбасников приглашения на встречи с читателями чаще всего отклонял. Он ссылаясь на служебную занятость, на научную работу в Академии наук, на нездоровье. Предпочитала не появляться публично и доктор Ракитина. Из редких интервью читатели узнавали, что удалось пережить М. Карбасникову и о его самоотверженном труде на благо любимой советской науки.

«Мы живём в эпоху, когда советская наука простирается всё дальше и дальше в неизведанные прежде области знаний и самые необжитые, отдалённые территории нашей необъятной страны, — рассказывал писатель журналистам. — И я убеждён, что наш опыт поможет первопроходцам выполнять свою работу, так необходимую нынче партии и народу».

Они жили обособленно, не заводили друзей, старались не принимать гостей, воздерживались от участия в компаниях. Знакомые относились к этому с пониманием. Кое-кто из коллег даже посмеивался, мол, после пережитого трудно не стать отшельниками. Другие открыто говорили, что они теперь знаменитости, орденосцы и просто зазнались.

Компании с вином и вольными разговорами представляли опасность не только для них, живущих второй жизнью, но и для многих в стране. Собирались только очень близкие и говорить предпочитали с оглядкой, помня, что в самых неожиданных местах могли оказаться чужие злые уши.

Им было хорошо вдвоём. У Татьяны начали всерьёз болеть ноги. Она отрастила длинные волосы и привыкла к свитерам и кофтам с большим воротом, чтобы они как можно больше закрывали лицо. И если последствия падения ещё можно было худо-бедно спрятать от посторонних, то болото всё чаще напоминало о себе. Татьяна приходила из академии и сразу ложилась, подложив под ноги подушечку. Андрей, то есть давно уже Михаил, взял консультации у нескольких специалистов, добыл какие-то мази и каждый вечер, как мог, помогал жене: грел воду, ставил компрессы, делал растирания. Татьяна задумывалась, и он тихонько ложился рядом и долго смотрел, как она дышит, как улыбается во сне.

— Ты что же, не будешь работать сегодня? — спрашивала она спустя полчаса, обнаружив его рядом.

— Я думал, ты спишь, — отвечал он тихо. — Боялся разбудить. И сам прикорнул нечаянно.

Он начал работу над новой книгой и ещё сомневался во всём. Казалось, первые страницы выходят неразгонистые, суховатые, и многое пока схематично и не продумано. Это беспокоило его. В работе над прежними книгами он обнаружил вдруг перемены в Татьяне. Неожиданно для него она стала на удивление точна в прогнозах относительно развития сюжета и даже в оценках качества текста. Её суждения подчас пугали проницательностью. Она предвидела развитие событий, повороты в судьбах героев, даже подсказывала их облик, манеру речи. Будто видела всё наяву. Как-то раз, прочитав начало одной из его будущих книг, смеясь, в точности рассказала, что станет с героями дальше. Хотя рукопись не дошла и до середины, а сам автор видел финал очень смутно и лишь в общих чертах.

— Ты какой-то колдуньей становишься, — сказал тогда он, удивляясь. — Мне что, остаётся только записывать за тобой, а потом ставить твоё имя на обложку? «На обложку не нужно, — смеясь, переводила разговор в шутку Татьяна. — На сердце поставь!»

Тем не менее Никитин всерьёз задумался над нечаянным открытием.

Однажды сказал, что думает написать книгу о строительстве канала. Тема ему известна, даже модна нынче. Историю можно вывести аж к Петру Первому, к победе над шведами в Северной войне, обеспеченную тайным рейдом из Белого моря, через Онежское озеро, Свирь на Ладогу. Успех книги обеспечен. Но главным, конечно, должно быть повествование, как преступники ударным трудом помогают строить экономическое могущество страны и сами созидают новых себя.

— Не нужно об этом, — резко ответила Татьяна. — Знаю, напишешь. Даже Сталинскую премию могут дать. Но писать не нужно.

— Почему? — удивился он. — Это же не «Перековка». Это о людях, их трудных судьбах.

— Напишут без тебя, — ответила она жёстко. — И премии получают, и погордятся. А потом... Не нужно. Не твоё это.

Он поверил ей. И убедил себя перестать думать о канале.

Татьяна на самом деле сильно переменялась. Карбасникову казалось, ушла в себя, сконцентрировалась где-то внутри души. Но о чём думала, часами просиживая в одиночестве у кухонного окна, об этом он не знал и никак не мог догадаться. А она не рассказывала. Он думал, это всё болезнь, которая точит ноги. Но однажды, крепко прижавшись к нему ночью, быстро проговорила сквозь сон:

— Что же, что же такое будет, Господи прости и помилуй! За что? Не надо, пожалуйста! Не надо...

Он подумал, приснилось неприятное. Что же, бывает. И будить не стал.

3

Непременный секретарь Академии наук Волгин пригласил доктора Ракитину в понедельник утром.

— Как у вас со здоровьем, уважаемая Татьяна Николаевна? Какие планы на эту неделю? — спросил он, встретив её у двери и проводив до кресла.

— Ничего необычного, Василий Петрович, — удивляясь неожиданному вниманию к себе высокого начальства, ответила она. — Текущие дела и несколько небольших поручений Александра Петровича.

— У нас к вам просьба...

Волгин подвинул к себе толстую папку и долго молчал, вероятно, размышляя, как бы помягче выразить эту самую просьбу.

— Просьба весьма деликатного свойства. Неожиданного, можно сказать, свойства.

Он пожевал губами, помолчал, а потом развёл руки в стороны:

— Хотя что же тут неожиданного! Обычная работа, но...

Волгин решительным жестом подвинул папку к Ракитиной.

— Только, пожалуйста, вначале распишитесь вот здесь.

Татьяна прочитала на половинном листе типографским шрифтом отпечатанные казённые слова: «...разглашение... карается... вплоть до... в чём и подписываюсь...».

Первое, что ей бросилось в глаза, — крупный

чернильного цвета штамп на обложке: «Чрезвычайно секретно. За пределы управления не выносить!» Она отёрнула от папки руку, как от электрического провода:

— Простите, Василий Петрович, зачем мне это? Я не допущена. Простите...

Ракитина отодвинула папку на середину стола.

— Вы не знакомы с Александром Васильевичем Барченко? — спросил Волгин.

«Господи, — испуганно подумала она. — Неужели докопались? Куда ещё может завести этот разговор».

— Только по публикациям. Он ведь писатель, фантаст, не правда ли?

— Да, писал. Но в сравнение с книгами вашего мужа не идёт. Он ещё и биолог, и географ, и историк. Весьма любопытный и разносторонний человек. К сожалению, с ним произошло...

— Не трудитесь. Я просматриваю газеты.

— В 1922 году Барченко руководил научной экспедицией на Кольском полуострове. Экспедиция имела базой лагерь на берегу Мотка-губы и проводила маршруты в район горного массива Луяврурт. Цели экспедиции формулировались не в Академии наук, а...

Секретарь замолчал. Татьяна видела, как трудно ему сказать то, что говорить не велели. Но и обойтись, подобрать какие-то иные формулировки он явно затруднялся. Молча посмотрев в окно, подвигав на столе бумаги, наконец продолжил:

— ...а в Особом отделе ВЧК. Отсюда сугубая секретность. Вы понимаете?

«Ну зачем мне снова влезать в государственные тайны, выслушивать полунамёки и недоговорённости, — мучительно думала Ракитина, кожей ощущая опасность. — Зачем это всё?»

— Вы меня извините, уважаемый Василий Петрович, но я только медик. Не нужны мне чужие тайны. Что я в них могу понимать?

— Не спешите, Татьяна Николаевна. То, чем занимался на Кольском Барченко с коллегами, гораздо ближе вашей специальности, нежели биологии или географии. Не говоря уже о литературе.

Он снова замолчал. Ракитина поняла, как трудно, как неловко ему вести разговор, ощущая себя скованным навязанными условиями. Волгин мучился, находясь не в своей тарелке.

– Так вот, уважаемая Татьяна Николаевна. Мне поручено предложить вам ознакомиться с отчётом экспедиции 1922 года и сделать сообщение узкому кругу руководителей академии. Если быть точным – президенту, его заместителям и мне. Мы хотим услышать ваше суждение о перспективах дальнейших исследований по этой тематике. Ваше сообщение запланировано в пятницу у президента Карпинского.

Он помолчал. Татьяна поняла, что за предложением стоит не просто некий теоретический, научный интерес, а нечто большее. Так и оказалось. Волгин продолжил:

– Дело в том, что нам рекомендовано подготовить на Кольский полуостров новую экспедицию. Уже назначен руководитель, в прошлом заместитель Барченко, Александр Александрович Кондиайн. Исходя из вашего доклада, будет принято решение об экспедиции либо в ближайшее время, либо в 39-м году.

– Извините, Василий Петрович, что перебиваю. На 39-й год ничего относить не нужно.

– Почему?

– Едва ли смогу объяснить вам это. Но прошу учесть, что 39-й год будет для нас...

– Вот вы сами и объясните это узкому президиуму академии, если сочтёте нужным. А меня, уважаемая Татьяна Николаевна, от подобных прогнозов увольте.

То, что было предложено экспедиции Барченко в 22-м году в качестве целей исследований, Татьяна определила быстро. Отчёт оказался крайне интересен. Целый пласт неведомой миру работы открылся перед ней в толстом томе под скучной казённой обложкой. Нечто похожее делала и она на Ветренном поясе, следуя плану Ракиной. Однако на поиске «мест силы» Барченко не останавливался...

В 1925 году при ОГПУ была создана лаборатория нейроэнергетики под начальством Г.Бокия, а в недрах лаборатории появился абсолютно автономный и совершенно секретный спецотдел профессора А. Барченко. Чекисты видели основной целью работы поиск средств для облегчения добычи секретной информации и влияния на сознание людей.

Официально Барченко числился сотрудником Научно-технического отделения ВСНХ. Для ис-

следований выделили значительные средства, предоставили практически не ограниченный доступ к архивной информации. От Барченко требовалось обнаружить доказательства, что в основе нашей цивилизации лежит универсальный космический разум. Сам Барченко был убеждён, что человечество зародилось на Севере в эпоху так называемого Золотого века, то есть примерно 10-12 тысяч лет тому назад.

...Всемирный потоп заставил жившие там племена ариев покинуть район нынешнего Кольского полуострова и двинуться на юг. Именно поэтому профессор организовывал экспедицию в зоны предполагаемых аномальных феноменов. Он надеялся, что отыщет подтверждение своей теории. Чекистов же интересовали проблемы практического характера – возможность использования аномальных излучений для воздействия на сакральные зоны, на человеческое сознание и психику.

Барченко отправился на поиски легендарной Гипербореи убеждённым, что гипербореицы представляли высокоразвитую цивилизацию. Им был известен секрет атомной энергии, они умели строить летательные аппараты и управлять ими. Сведения об этом исследователь почерпнул из доступной ему масонской литературы. Татьяна прочла в отчёте ссылки на источники. Барченко считал, что носителями древних знаний о Гиперборее являются также саамские шаманы. Местные жители рассказывали ему, что у подножия Нинчурта есть лазы, которые ведут в подземелье. Экспедиция наткнулась на необычный лаз, уходящий под землю. Проникнуть внутрь не удалось – мешал безотчетный страх, почти осязаемый ужас, буквально рвущийся наружу из черного зева. А.В.Барченко ссылается на суждение одного из местных жителей: «Ощущение было таким, будто с тебя живьем сдирают кожу...»

Геологи обнаружили в этих местах редкоземельные и ураноносные руды, а в тайге близ знаменитого Сейдозера, в местах пересечения водных потоков, встретили сопки, напоминающие... пирамиды. По мнению А. Барченко, все это могло служить свидетельством существования Гипербореи.

Целый раздел экспедиционного отчёта руко-

водитель экспедиции посвятил Гиперборее. Он писал, что Арктида (Гиперборея) – гипотетический древний материк или большой остров, существовавший на севере Земли в районе Северного полюса. Название следует понимать так: Гиперборея – это то, что находится на Крайнем Севере, «за северным ветром Бореем», иначе говоря, в Арктике.

До сих пор факт существования Арктиды-Гипербореи не имел подтверждения, кроме древнегреческих легенд и изображения этого участка суши на старых гравюрах. Однако историк Древнего мира Плиний Старший относился к описанию неведомой страны вполне серьезно. Из его записей прослеживается местонахождение малоизвестной страны. Добраться в Арктиду, согласно Плинию, было трудно, но... Нужно лишь перемахнуть через некие северные Гиперборейские горы:

«За этими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ... который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами... Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда Солнце не скрывается... Смерть приходит там только от пресыщения жизнью... Нельзя сомневаться в существовании этого народа...»

Татьяну отчёт А. В. Барченко одновременно и заинтересовал, и огорчил. «Места силы», несущие тепло, неземную радость и счастье, а вместе с ними древние знания, накопленные тысячелетиями, современные люди хотели повернуть вовсе не на обретение добра для всех. Цель оказалась обратной: силу добра обратить в силу зла.

Она отложила отчёт. Известного учёного использовали как мальчишку. Судя по всему, они также намерены использовать теперь её самое. И она не хотела участвовать в этом. Ей казалось нелепым тратить человеческие силы на поиски в полярных горах какого-то «хранилища» древних знаний.

«И кому пришло в голову это, – горестно думала она. – Неужели они полагают, что древние знания – это библиотека в пещере или говорящая голова, как в цирке? Стоит найти её, и вот ты теперь всёзнающий, можешь управлять ми-

ром. Какими словами убедить, что знания придут сами, как только мы будем готовы принять их. Но разве мы готовы, коли хотим употребить их таким образом?»

Доктор Ракитина уложились в отпущенные ей на заседании малого президиума Академии наук десять минут. Она сказала главное: экспедиция не имеет смысла. Мы не готовы принять эти знания древних, даже если и что-то найдём.

– Из отчёта экспедиции следует, что Александр Васильевич Барченко обнаружил признаки того, что искал, – сказала она в завершение. – И что? Мы приблизились к разгадке? Наши знания стали полнее? Мы обрели могущество древних гиперборейцев? Нет. Почему? Потому что мы не готовы...

– Василий Петрович доложил, что вы не рекомендуете посылать экспедицию на Кольский полуостров в 39-м году, – с лёгкой ухмылкой сказал Карпинский. – Простите, почему?

– Кольский полуостров – это пограничье. А пограничье на Севере в 39-м году будет воспалено конфликтом. Думаю, никакие экспедиции, кроме военных, там возможны не будут.

– Простите, Татьяна Николаевна. Откуда у вас такие сведения? Наша экспедиция согласована во всех ведомствах, в том числе компетентных. И военные нам предупреждений не давали.

– Я не могу предъявить доказательств. Считайте это не предупреждением, а прогнозным мнением учёного. Я же могу давать прогнозы, выступая перед коллегами в стенах Академии наук, не так ли?

Вечером она не выдержала и рассказала об экспедиции мужу. Пора было спать, и он видел, как мается она, не находя себе места в квартире, как угрюма. Он просто усадил её перед собой и велел рассказывать.

– Это ошибка, Андрюша. Это новая ошибка! – говорила она, прижав ладони к лицу. – Как им объяснить? Какие найти слова, чтоб поверили? – говорила она в отчаянии.

– А не может так случиться, что ты ошибаешься? А если ошибаешься, значит, мешаешь. Тебе ведь нечего предъявить в качестве доказательства?

– Да, нечего, – согласилась Татьяна. – Ты

прав. Как я могу доказать, что в 39-м на Севере начнётся война? Как я докажу, что никаких древних знаний нам не передадут, пока не убедятся, что мы используем их на добро?

— Господи, а откуда тебе про войну-то известно? С кем воевать собралась?

— Не знаю, Андрюша. Наверное, оттуда, откуда вообще приходят нам знания. Мне теперь многое оттуда приходит, а я поделаться с этим ничего не могу. Я чувствую себя слабой и беспомощной...

Среди ночи он несколько раз просыпался в тревоге и видел, что она не спит, смотрит в потолок остановившимся взглядом. Он обнимал её, тёплую, домашнюю, и шептал:

— Спи, счастье моё неутомимое. Тебе нужно отдохнуть. Так ведь и до желтого дома недалеко.

Но чувствовал, мыслями она не здесь. А где, похоже, и сама не знает и оттого томится.

«Бедная, бедная моя Танюшка, — думал он засыпая. — Ну почему же тебе выпало страдать? Кто решил так? Лагерь с этапами и пересылками, бегство, от которого по ночам мучительно болят ноги, и теперь вот эти терзания души. И всё это я, из-за меня...»

— Ты знаешь, мне кажется, будущее определяется помимо наших желаний. Жизнь сама заботится о нас. Нужно только понять и не пройти мимо того, что она нам предлагает, — сказала она утром, садясь за завтрак. Они пили кофе, собираясь утром на работу, и Татьяна отвечала на его ночные вопросы.

— Вот ты опять виноватился, будто бы испортил мне жизнь. Я ведь знаю. Я писала с Водораздела и повторю теперь: меня всё равно бы взяли. Не могли не взять. И неизвестно, что со мной стало бы. А с тобой я вышла и живу новой жизнью. И очень благодарна. Не мучайся, прошу тебя. Мне от этого вдвойне тяжело. Я люблю тебя...

Андрей молча гладил её ладонь в мелких пульсирующих жилках и вспоминал тяжёлый жар летнего дневного болота, маленький скальный островок посреди безбрежного топкого пространства и её распухшие ноги в мокрых заскорузлых солдатских ботинках. И ему хотелось плакать...

Все последние дни Карбасников участвовал в совещаниях с одной темой: освоение Арктики. В январе 33-го Сталин создал Главное управление Севморпути, назначив руководителем неуёмного Отто Юльевича Шмидта. Умный, тонкий, энергичный, превосходный математик и известный альпинист, Шмидт, похоже, всю страну заставил работать на ГУ СМП. Теперь в дело энергично включилась и Академия наук.

Карбасников выслушивал доклады и сообщения полярников, участвовал в спорах и кулуарных задушевных разговорах. За десять лет на Маточкином Шаре, на Земле Франца Иосифа, у берегов Новой Земли, на мысе Челюскина на Таймыре и ещё в полудесятке глухих и диких мест построены полярные станции. Станции дают надёжные ледовые и погодные прогнозы, но... Нужно отладить подготовку кадров для них, настаивает Шмидт. Необходимо серьёзно учить, наставлять, да и просто передать навыки выживания в крайне сложных условиях. Ведь очередная смена зимовщиков, бывает, задерживается из-за погоды на год-два и более.

В кулуарах одного такого совещания Шмидт рассказал, как Сталин принимал решение о создании Главка, который уже стал для некоторых ведомств костью в горле:

— После возвращения «Сибирякова» нас с Куйбышевым пригласили в Кремль с докладом. Мы должны рассказать, что необходимо сделать, чтоб плавание по Северному морскому пути стало регулярным. И возможно ли оно на пароходах неледového класса. Подготовились, выступили: надо то, надо это, и третье тоже надо... Наркомводу построить порт в Тикси, Внешторгу закупить ледоколы, Наркомпочтель построить в Тикси радиопочта...

«Покажите, где это ваше Тикси», — говорит Сталин, подходя к карте. Показали. Сталин хмыкнул: «Ну да! Мы этот Наркомвод каждую неделю ругаем за то, что он нефть из Баку по Волге не может как следует перевезти, а вы хотите, чтобы он думал о вашем Тикси... Не сделает он ничего в Тикси!»

Примерно так же сказал и о Наркомпочтеле: «Не будет он Диксоном заниматься...» И в качестве резюме поручил переделать бумаги и готовить постановление о создании Главка.

— Арктика — вещь сложная, — пробурчал Ста-

лин, прохаживаясь у карты и покуривая трубку. — Надо создавать организацию, которая отвечала бы за всё сама.

— Вот и отвечаю теперь. За всё, — улыбнулся Шмидт. — И на вас надеюсь. Работы и в Арктике, и на приарктических территориях столько, что не объять глазом. Очень бы хотел заполучить вас с супругой в помощники. Знаю, читал о ваших работах на Ветреном поясе. К слову, это ведь совсем рядом с Полярным кругом.

— Очень мне тревожно от этой вашей Арктики, — пожалла плечами Татьяна вечером. — Боюсь я её и сама не знаю почему. Уж очень холодно там.

— Нас ведь туда не посылают, — улыбнулся Андрей. — Опытом делиться со студентами и начинающими полярниками — да, но в экспедиции мы с тобой больше не ходоки. Так ведь, счастье моё?

— Время такое, что могут не спросить, — ответила она, не поддерживая шутиwego тона. — Как в газетах пишут, «если Родина прикажет...».

— Да уж... Родина может ещё не то приказать, — согласился он, вспомнив грузовой пароход «Челюскин», которому приказали стать ледоколом. И «Сибирякова», чуть не повторившего его трагическую судьбу. Будем надеяться, да мину-ет нас Чаша сия...

Больше полугодом прошло с того разговора, и за это время многое переменялось. Шмидта в Севморпути сменил Папанин. В коридорах вполголоса судачили о первом в СССР докторе наук, ставшем не только без защиты, но и без школьного аттестата: «Шмидт снял Папанина со льдины, а Папанин снял Шмидта с Севморпути». Их с Татьяной никуда не вызывали и не отправляли. Хотя Шмидт не забыл. Он теперь тоже работал в Академии наук. Совсем рядом.

4

Утром в кабинет наркома связи СССР Бермана помощник принёс свежую почту. Большую толстую папку с золотым тиснением он, как обычно, положил на стол, но отдельный листок с записью подал прямо в руки:

— Ну, что ещё? — недовольно сказал нарком, покосившись на листок.

— Матвей Давыдович, звонили из Кремля, назавтра вас приглашают в отдел парторганов ЦК к товарищу Маленкову. Я тут записал: прибыть в 11 часов.

Берман взял листок и взглянул на календарь: завтра 24 декабря 1938 года.

— Подготовьте справку о наших делах в периферийных организациях: что было до чистки и что стало на сегодня, а также соберите предварительные итоги выполнения плана ликвидации последствий вредительства по всем подразделениям. Это тот план, который мы утвердили в октябре.

— Разрешите идти?

— Вечером документы должны быть у меня.

В секретаре чувствовалась офицерская выучка. Это был один из тех старых службистов, которых Берман в августе прошлого 37-го года привёл с собой сразу после назначения в наркомат из НКВД. Тут не только секретаря, многих пришлось поменять. Наркомату фатально не везло. Началось это со второй половины 1936 года, когда «на связь» отправили из НКВД заместителя Ягоды Прокофьева. Вроде бы опытный чекист-оперативник и нелегал, а что оказалось? Не только не способен к руководству сложной отраслью, но вредить начал. Такого тут наделал, что следователи едва разобрались. Потом Сталин лично попросил самого Ягуду «поставить связь на ноги», поскольку связь — «это оборона». И Ягода рьяно взялся за дело, отыскивая врагов даже в отдалённых почтовых отделениях.

Берман усмехнулся: сколько врагов удалось обнаружить после приказа «железного наркома» с запретом кассирам принимать телеграммы «с провокационным и хулиганским содержанием»? Представьте себе, сидит такая женщина с тремя-четырьмя классами образования за окошком сельской почты: что она соображает? Она и слов-то не выговорит за один приём — «провокационное содержание». А телеграмма пошла делать своё чёрное дело против советской власти. И что, жалеть её после этого, что ли? Лагерь года на три как минимум.

Но и Ягода оказался хорош. С кассирами почтовых отделений боролся, а центральный аппарат засорил врагами, «своими людьми», как он говорил. Результат известен: через че-

тыре месяца его арестовали прямо на квартире в Кремле и расстреляли.

Да что там почтовые кассиры... Когда он, Берман, пришёл в наркомат, в первый же день пошёл искать отдел снабжения и не нашёл, стал искать отдел охраны, — на входе-то нет даже сторожа-инвалида с охотничьим ружьём (вот тебе и «связь — это оборона!»), а ему говорят: да нет у нас такого отдела...

Берман встал из-за стола и прошёлся по кабинету. Сталин смотрел на него с большого портрета, как показалось, одобряюще: «Да, товарищ Сталин, я вычищу это осиное гнездо и подниму наркомат на уровень ваших требований. Наркомат — это ведь не Беломорканал, не канал Москва-Волга. Справился там, справлюсь и здесь!» За Беломорканал Берман получил орден Ленина, за канал Москва-Волга Красную Звезду. И здесь работы оказалось выше головы.

На столике с массивными кожаными креслами в углу кабинета пачка старых газет. Из-под пачки торчит угол яркой предвыборной листовки. Всё некогда разобрать и выкинуть. Секретарю поручить, что ли? А листовка... Да, было. Он, Матвей Давыдович Берман, с прошлого декабря депутат Верховного Совета СССР от Елецкого округа. Он берёт листовку. Крупный, броский шрифт: «...враги народа — Рыков, Ягода и другие навредили в органах связи, этому важнейшему нерву страны — и теперь тов. Берман с помощью партийных и непартийных большевиков наводит в наркомате связи большевистский порядок, расчищая всю гниль и нечисть, которая ещё осталась от вредительского руководства...»

«Да, хорошо сказано, — с удовлетворением подумал о тексте Берман. — Особенно это — непартийные большевики. Партия с народом, народ с партией... Вся страна — большевики. Поэтому если не большевик, то, следовательно, не с народом, не со страной. С кем тогда? Значит, враг и место тебе в лагере...»

В октябре 37-го Берман организует оперативное совещание в НКВД. С бывшими коллегами он вырабатывает меры по чистке наркомата связи и его подразделений на местах. Затем посылает записку о проделанной работе в Совет народных комиссаров. Совнарком записку рассматривает и принимает одобряющее постанов-

ление, поручая разработать подробный план по ликвидации последствий вредительства.

При такой поддержке как можно работать плохо?

Берман садится за стол. Глаза скользят по строчкам. Он никак не может сосредоточиться. Зачем вызывают? Конечно, он не раз бывал у Маленкова, знаком с этим молодым ещё человеком с отвисшими щеками. Такой упитанный хомячок с глазами, в которых ничего понять невозможно. Ни радости не увидишь на лице, ни восторга, ни грусти, — ровный, равнодушный, всегда спокойный. Что ему от меня нужно?

Правда, наметился в его речах новый и странноватый крен, фразы проскакивают: «избиение кадров», «недостатки при исключении из партии» и так далее. Оно и понятно, на кадрах сидит, за своих радеет. Может, жалобами завалили либо кого-то из дальней родни замели, бывает, при таких-то масштабах чисток.

Берман снова встаёт из-за стола и, прохаживаясь, думает. В январе этого года Маленков делал доклад на Пленуме ЦК о недостатках в работе парторганизаций при исключении из партии, в августе говорил о перегибах... Ни Сталин и никто из Политбюро его не остановил, не поправил, рано, мол, вы, Георгий Максимилианович, решили затормозить процесс очищения страны от врагов. Вы только посмотрите, сколько их обнаруживают органы во всех отраслях народного хозяйства. Не избавимся от врагов, не сможем идти вперёд так, как намечает партия и лично товарищ Сталин...

Но никто не сказал этого Маленкову. Почему?

И Берман впервые почувствовал опасность. Ведь это он был главным в ГУЛАГе. Он, а никто другой, гнал эшелоны в Медвежку, на Беломорканал, а потом в Дмитров, на канал Москва-Волга; гнал в Коми, в Караганду, в Магадан, за Урал... Да не один он гнал. Но... Семён Фирин уже расстрелян, Генрих Ягода расстрелян. Расстреляны уже десятки, с которыми сидел рядом в президиумах совещаний, пил коньяк...

Он вдруг вспомнил телеграмму, которую приказал отправить в лагерь шифровкой в июле 37-го, и по спине прошёл лёгкий озноб. Берман расстегнул пуговицы на воротнике. Ему приходилось подписывать десятки подобных телеграмм, — разве запомнишь все, — а эта запомнилась. По-

чему, мучительно думает он? Может, потому, что речь шла о детях, а такое бывало нечасто.

«Ближайшее время будут осуждены и должны быть изолированы в особо усиленных условиях режима семьи расстрелянных троцкистов и правых, примерно в количестве 6-7 тысяч человек, преимущественно женщин и небольшое количество стариков. С ними будут также находиться дети дошкольного возраста».

«Ну и что значит эта телеграмма, — пытается успокоить себя нарком Берман. — Да, старики, женщины и дети из семей врагов народа ещё не осуждены. Но непременно осуждены будут. Работает конвейер. В лагерях сотни тысяч заключённых. Он хозяин громадной лагерной империи и должен позаботиться заранее, куда и как расселять эти новые будущие контингенты. Никто за него эту работу не сделает.

И ведь не он, Берман, их приговаривает, а советский суд. Он только расселяет и даёт работу. Иначе говоря, вручает в руки шанс исправиться, вернуться в общество и выжить. Да, наверное, кого-то из бывших членов ВКП(б) отправляют в лагерь ошибочно. Такое бывает. Но это не его, Бермана, дело...

Берман требует у секретаря чай и медленно, упокаиваясь, пьёт. Ложечка противно бренчит о подстаканник. Берман швыряет её на стол. За большим окном кабинета в тяжёлых массивных шторах шумит московская улица, гремит трамвай. Вечером он возьмёт документы домой и спокойно изучит. Он должен чётко доложить Маленкову по каждому из пунктов плана, одобренного Совнаркомом. Захочет поговорить о ситуации с кадрами членов партии — поговорим, решает он. Будут предложения — обсудим. Даст поручения — выполним. На то он и сидит в ЦК.

«Ну что же, будем работать! — громко сказал Берман и вызвал секретаря: — Через час собери-ка мне начальников отделов. Да, и заведующего секретариатом Кутовского не забудь».

Назавтра с утра, не заезжая в наркомат, Берман направился в Кремль. Дома он слегка позавтракал, пробежал глазами первую полосу «Правды». В главной газете страны ничего не переменилось: передовая «Электрические станции должны работать образцово!» («а остальные так себе, что ли», — сыронизировал Берман про себя), подборка одобрительных

откликов рабочих и служащих на решение правительства о введении трудовых книжек, сообщение о проведении областных совещаний по борьбе с засухой («как было бы хорошо, если бы совещания могли помочь победить засуху!» — прокомментировал Берман), заметка о пятинадцатилетии ЭПРОНа...

Всё как всегда. Но Берман знал, что и двух недель не прошло, как прямо в кабинете был арестован редактор «Правды», известнейший и популярный журналист Михаил Кольцов. Депутат Верховного Совета РСФСР, он днём раньше был выдвинут в члены-корреспонденты Академии наук СССР и, разумеется, стал бы им, даже не имея среднего образования. Но... «Органы знают, что делают», — как принято теперь говорить, и обсуждения тут неуместны.

Небольшие хлопоты задал новый мундир. Берман всегда любил форму. Во время службы в НКВД никогда не позволял себе являться на людях в гражданском, без гимнастёрки, ремня и портупей. Теперь приходится привыкать к форме высшего начальствующего состава гражданского наркомата связи. К слову сказать, выглядит она не менее впечатляюще.

За окном служебного автомобиля мелькают окна московских домов, автобусные остановки с людьми, портреты руководителей страны на фасадах больших зданий. Весь этот калейдоскоп бурной городской жизни привычен Берману и не возбуждает никаких чувств в его сердце. Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. И в памяти вдруг возник тихий, полусонный Повенец, широкая гладь Онежского озера с крохотной рыбацкой лодочкой у самого горизонта, прямая, как стрела, просека, в серых копошащихся человеческих фигурках...

Это время, когда всё только начиналось для него. Первая командировка на Беломорканал в роли главного над всеми лагерями СССР — над целой империей, в которой он решал судьбы тысяч и тысяч. Один!

Потом жизнь покатила стремительно и широко. Канал Москва-Волга... Здесь всё — и масштабы самого канала, и строительство, и людские ресурсы по сравнению с Беломорстроем нужно было умножать по меньшей мере на два. Он начальник строительства, у него громадный кабинет и большая приёмная, вечно за-

битая просителями. Одному «подкинуть людей», другому нужны материалы, третьему разрешение «немного отодвинуть сроки». «Я тебе отодвину! Я тебе так отодвину, что Дмитров раем покажется!!!»

Но вспоминается почему-то тихий Повенец, вечер в комнатке приезжих, большая водная гладь за окном, немного напряжённый разговор с Коганом за коньяком. Вот и Когана уже нет; расстрелян Коган. И не выходит из памяти эта первая поездка вдоль трассы будущего канала к Водоразделу: встреча с Френкелем, трясущийся заключённый начальник участка, сэкономивший десяток досок, но добавивший этим себе срок с его, Бермана, помощью. А что он, руководитель ГУЛАГа, должен был сделать? Премимальные пирожки выписать?

Да, как же давно это было! Сколько воды утекло! Интересно, что с его поручением вывезти с восьмого отделения этого писателя, о котором все говорили тогда с таким уважением? Он сам позабыл о нём тогда же, что совсем немудрено при его заботах. Как его звали? Никитин? Да, Никитин. Интересно, как сложилась его судьба? В центральных газетах он этого имени не встречал. Может, умер где-нибудь в отделенческой убогой больничке и брошен в общую яму, как это происходит со всеми умершими там. Интеллигенты, писатели, музыканты, все эти художники, на которых он насмотрелся по лагерям, они же такие неприспособленные к физическому труду, нытики и жалобщики...

— Прибыли, товарищ Берман, — вернул наркома к действительности голос водителя. — Кремль.

Берман взглянул на часы. Стрелки показывали десять часов тридцать минут.

— Вас ждать, товарищ нарком? — спросил водитель.

— Как обычно, — ответил Берман. — Думаю, не более часа. Совещание не планируется. Съездим на обед, а затем в наркомат.

Дежурный выписал пропуск и привычно, не поднимая головы, попросил сдать оружие, если оно есть. Берман вынул из кармана брюк маленький никелированный браунинг. Он никогда не расставался с ним ещё с Беломорканала. Браунинг подарили на день рождения коллеги, и он нравился Берману тем, что хорошо сидел в

руке и бил мощно. Правда, Берман стрелял из него редко, в последний раз ещё на Беломорканале, во время пикника на островах Выгозера. В компании были женщины, и одна уж очень просила позволить ей «стрелить», всячески делая вид, что в долгу не останется. Почему бы и не «стрелить», решил тогда Берман. Тем более что ему самому хотелось проверить его бой. Долг так и остался за женщиной: привезти из командировки триппер или чего похуже не вошло в его планы.

В приёмной Маленкова оказалось пусто. Секретарь скрылся за высокой дверью, доложил, но приглашения не последовало. Берман присел в ожидании, теребя в руках папку с документами. Вот этот навык ожидания в приёмных Берману приходится вырабатывать в себе только теперь. В НКВД, имея чин комиссара госбезопасности третьего ранга, он никогда в приёмных не высиживал. Нынче приходилось смиряться, тем более находясь в Кремле. Но смиряться было трудно, и Берман нервничал.

Минут через двадцать на столе секретаря резко звякнул звонок, и Бермана пригласили в кабинет. Маленков сидел за большим столом с зелёной лампой и писал. Он не вышел навстречу, как это бывало раньше, не встретил рукопожатием. Не ответил даже на приветствие. Только глянул исподлобья равнодушными глазами и кивнул на стул в дальнем конце стола:

— Присядьте пока.

«Видно, будут ещё товарищи, — подумал Берман. — Всё-таки назначили совещание. Ладно, подождём».

Маленков продолжал писать. Минут через десять он поднял трубку и сказал кому-то резко:

— Ну, где там комендант, в конце концов? Здесь? Как это — когда? Пусть входят немедленно...

— Вы готовы? — спросил он Бермана.

— Да, готов, — ответил Берман и показал папку с материалами.

— Передайте. Мы рассмотрим потом.

«Почему это — потом? — испуганно подумал Берман, передавая Маленкову папку через стол. — Когда — потом, если люди соберутся здесь и сейчас». Ему вдруг стало страшно. «Что же происходит? Почему Маленков молчит и всё пишет чего-то. Кого мы ждём?»

— Георгий Максимилианович, я готов доложить о работе прямо сейчас. Мероприятия, одобренные Совнаркомом, мы в наркомате держим на постоянном контроле...

— Вы непременно всё доложите, Берман. И очень скоро. У вас будет достаточно времени для этого. Потерпите.

То, что произошло дальше, Берман видел будто в неисправном замедленном кинематографе. Распахнулись двери, и в кабинет вошёл комендант Кремля и с ним трое офицеров НКВД. Опытным глазом Берман определил, что все они вооружены и, следовательно, не посетители. Один остался у двери, двое встали за спиной, а комендант подошёл вплотную:

— Гражданин Берман, вы арестованы. Прошу следовать за нами.

«Как арестован? Я?! На каком основании? За что?!» — хотелось крикнуть ему, но в горле стоял ком. Берман старался проглотить, освободиться, глотал, глотал, но ком перекрыл горло, и он только хватал ртом воздух и тяжело дышал.

«Вот и всё, — подумал Берман, справившись наконец с горлом. — Это ловушка, это конец».

Он не крикнул, а только недоумённо смотрел на Маленкова. Тот всё так же равнодушно сидел на стуле, вертя в пальцах карандаш, и глаза его были такими же гладкими и ничего не выражающими, как и всё гладкое и ничего не выражающее лицо.

Офицеры легонько подтолкнули наркома за плечи в сторону двери, тот сделал два шага на одеревеневших ногах и пошёл, пошёл, всё ещё не понимая, что же такое произошло с ним и как такое вообще могло с ним произойти...

Наркому связи СССР Берману Матвею Давыдовичу жизни оставалось два месяца и две недели...

Часть четвёртая РОТАЦИЯ

«Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрёпанной, попевать за его молодой походкой».

Александр Блок,
«Ни сны, ни явь».
Март 1921

Третий день они засыпали под стук колёс и просыпались под звяк и рывки паровозных сцепок. Они ехали в Крым. Время к осени, сотрудники ещё по экспедициям, а их вдвоём вызвали в канцелярию, где лежал приказ на отпуск и заполненные путёвки в санаторий на целый месяц.

1

Странно это казалось и радостно. Ведь не спросили! И несколько дней, пока готовились и собирали чемоданы, прошли в состоянии необычайном, почти восторженном. Они жили в предвкушении лёгкости и свободы, свободы от службы, от городской сутолоки, от городского надоедливости шума. Перед самым отъездом Татьяна предложила Андрею съездить и только одним глазком...

— А ты уверена, что это нужно? — спросил он недоверчиво.

Татьяна промолчала. Какими словами объяснить желание ещё разок взглянуть на старый двор и родные окна. Детство, школа и уже взрослая жизнь, самое её начало... Как много связано с ними.

Андрей тут же собрался, остановил у дома такси, и они поехали.

Они уже были там, и не один раз. Просто сидели во дворике напротив подъезда, никем не узнаваемые, будто чужие. Да и узнавать некому: за полчаса не увидели ни одного знакомого лица. И в квартире тоже жили незнакомые люди — молодой майор с петличками морского

лётчика и жена, худенькая, стремительная, будто девочка.

«Наверное, балерина, — подумала Татьяна. — Вон какая лёгонькая».

Как и в прошлый раз, Татьяна посмотрела на двери подъезда и решила, что прав Андрей: тщетны эти попытки возвращения. Только душу тревожишь себе и ему. Она вспомнила, как вышла из обшарпанных теперь чужими равнодушными людьми дверей тем недобрым утром. Она собиралась скоро вернуться. Ах, как наивно она надеялась, что вот сейчас пойдёт и всё объяснит, и на Лубянке сразу поймут и тут же отпустят мужа, — ведь обвинения так очевидно нелепы! — и они вместе вернутся. А по пути станут смеяться над тем, как глупо с ними поступили, и что нужно поскорее забыть и жить себе дальше, ведь столько интересных планов и такая большая жизнь впереди...

«Разве это наша жизнь была? — удивлённо и печально думала она сейчас о прошлом. — Разве это были мы, такие восторженные и наивные? Как же давно это было. Нет, мы вот здесь, на лавочке, и имена у нас другие, и жизнь совсем непохожая. Неужели ротация на самом деле и есть тот всемирный закон, без которого нет развития? И закон этот неотвратим, как всякий закон цивилизации? И что ещё может измениться в их жизни во имя неведомого им развития?»

От ворот санатория в горы уходит неширокая извилистая тропа. Первую сотню шагов тропу, словно пологом, укрывают высокие деревья. Потом деревья становятся реже, всё больше неба открывается над головой. И если свернуть с тропы на скальный уступ, целый мир распахивался перед глазами во всю свою неоглядную ширь. Мир не имеет границ ни вверху, на небосводе, ни под ногами, за краем ущелья. И всякий раз от неожиданной распахнутости мира, от безграничного простора кружится голова...

После обеда они берут старенький плед, книги и потихоньку бредут сюда. Бывают дни, когда тягучая ножная боль Татьяны уходит, будто затаивается, и тогда она ничем не уступает ему в ходьбе. Неподалёку от обрыва у них маленький пятачок земли, покрытый невысо-

кой густой травкой. Они лежат, молчат, читают, изредка пускаясь в обсуждения, и даже спорят иногда.

— Писала как-то тебе с Водораздела после Серёжиной повести про взорванные горы, помнишь? — вспоминает Татьяна. — Ну почему и он, и другие так чернят прошлое, скажи мне? Ведь всё у них в прошлом мрак и невежество.

— Да, дурная традиция, радость моя, — согласился Андрей. — Мода, если хочешь. Точнее, поветрие. На тёмном фоне легче написать светлое будущее. В такой литературе всякая сегодняшняя малость светит в прошлое, как солнечный луч. Мы спорили с Серёжей на эту тему.

— И что он?

«Не понимаешь, — говорит, — сверхзадачи современной литературы: высветить новое, вести в светлое будущее, как вёл Данко, вырвавший из груди своё сердце».

— Сильно сказано, — согласилась Татьяна. — Эмоционально!

— Сильно-то сильно, только неверно. Я возражал: как тогда понимать, что тёмные и неграмотные люди создали такую громадную страну? Освоили громадные пространства и населили её от края и до края. А мы, такие прогрессисты, города накормить не можем. Другим заняты. Врагов ищем среди своих?

— И с ребятами в редакции спорил о том же?

— Никогда не имел привычки скрывать своих мыслей, — резко ответил муж, не догадываясь, к чему она клонит.

— Результат ваших интеллектуальных споров мне, Андрюша, хорошо известен, — подвела итог Татьяна. — Дискуссию о тёмном прошлом и светлом будущем пришлось завершать у следователя НКВД. — И сразу сменила тему: — Интересно, где теперь Лосевы? Вот бы поговорить с Валентиной Михайловной! Умница редкая!

— Не забывай, радость моя, ты теперь не Никитина. Я знал, что когда-нибудь спросишь, и аккуратно навёл справки. Они в Москве, но работать не дают, печататься не дают. Александр Фёдорович хлеб добывает лекциями по Московской области. Из МГУ его вытравили коллеги.

— Воистину, что недоделает власть, сделают

коллеги, — добавила жена с горечью. — Причём сделают добровольно и с удовольствием. Вот время...

— Время ни при чём, — возразил Андрей. — И люди всегда одинаковы. Со времён пришествия Христа мы всё те же грешники, гордецы и завистники. Дело во власти.

— Власть, власть... Легче всего свалить на власть, — возразила Татьяна. — Обвинил правителей, и самому облегчение, так? Можно продолжать чувствовать себя правым, жить во лжи и в нравственной грязи.

— Ты права, — ответил он, задумавшись на минуту над мыслью Татьяны. — Но только отчасти. Власть либо способствует проявлению низменного в гражданах, либо препятствует, борется с пороками. У нынешней власти любимец Иуда.

— Ты прав, к сожалению, — согласилась жена, и на душе у неё стало тяжело от этого согласия. Очень уж не хотелось соглашаться.

Они надолго замолчали. Ветер слегка шевельнул ветви ближайшего дерева, прошелестел над утёсом. На минуту-другую стало тихо. Но потом ровный сплошной воздушный ток надвинулся, смёл со скал листья. Листы раскрытой книги затрепетали, будто крылья раненой птицы. Похоже, погода портилась. Пора было спускаться в санаторий.

— И ведь известно наперёд, что они и этого, которого лезут теперь целовать, так же глумливо распнут, — с жёсткими нотками в голосе закончил Андрей. — И скоро.

Где-то за горами неожиданно прогрехотал гром. Серая туча, как объевшаяся старая утка с отвисшим животом, выплыла из-за гряды в долину. Было видно, что туча несёт дождь из последних сил. И вот не донесла, уронила. Струи протекли вниз серебристой пыльной завесой, орошая едва видимые квадраты виноградников...

Странно наблюдать эту картину. Будто смотришь из другого мира, где нет ни дождя, ни туч, но только сияющее солнце на бездонном небосводе.

— Скажи, Андрюша, только честно, тебе не тяжело жить так, как живём мы? — спросила вдруг Татьяна. — Ну, ты понимаешь, о чём я.

— Понимаю, — согласился он. — Я иногда

вспоминаю людей, исчезнувших там, у болота. Жалко до слёз. Какая страшная гибель.

— Что значит — страшная? — не согласилась Татьяна. Видимо, на эту тему она долго думала. Может быть, думала всё время, прошедшее с той поры. Да и как было не думать, если трагедия случилась совсем рядом, почти на глазах. — Какая же она тогда не страшная? — переспросила Татьяна. — Дома в постели, в окружении близких? Какая разница, как умереть. И почему ты говоришь о гибели?

Слова Татьяны показали Андрею неожиданно резкими, и он не сразу нашелся, что ответить. «Что-то странное происходит с ней в последнее время, — подумал он. — Какая-то перемена. Но почему, почему?»

— Да что можно назвать гибелью? — настойчиво продолжила Татьяна. Ей было важно выяснить, что думает на этот счёт именно он. Будто хотела проверить на нём какие-то свои мысли. — Ты же помнишь письмо Ракитиной: мы заменим других, а вы — нас... Видишь? Может, сейчас кто-то готовится прийти на смену и нам.

— Не понимаю, о чём ты? — ответил он почти равнодушно. — Как бы там ни было, у меня подобное не укладывается в голове, прости. А жить в чужом облике тяжело, да, согласен.

— И в чём же ты видишь выход? — спросила Татьяна, поняв, что Андрей поддерживать предложенную тему не намерен.

— Думаю оставить академию и уйти в писательство, — сказал он как о деле, вполне для себя решенном. — Хочу отделиться от служебной толкучки, быть самим собой. У меня новые замыслы, нужно спешить.

— Заманчивое слово — отделиться, — сказала Татьяна задумчиво. — Только вот от чего, от кого и как?

— И ты, счастье моё, тоже, смотрю, тяготишься, задумываешься о чём-то. О чём, скажи?

— О нас. Не хочу с тобой расставаться. Мне хорошо с тобой.

Он опять ничего не понял: когда расставаться, зачем расставаться.

— Нас ведь никто не разлучает, — Андрей обнял жену за плечи. — Чего же печалиться зря. Пойдём на ужин.

Она молча посмотрела на него и улыбнулась.

Сегодня к ним в столовой посадили пару новых отдыхающих санатория.

— Максим Ревенко, — представился молодой, за тридцать, мужчина с приветливым мягким лицом.

— Марьяна, — подала через стол тонкую изящную руку женщина. — Тоже Ревенко.

— Однофамильцы? — пошутила Татьяна. — Нечаянно свела судьба за одним столом?

Все рассмеялись.

— Нет, конечно. Супруги, — сказал Максим. — Даже работаем вместе.

Спрашивать в начале беседы, где работают новые знакомые, показалось неприличным, и Татьяна с Андреем промолчали.

— А я вас знаю, — сказал Максим Андрею. — Вы ведь Карбасников?

— Да, — ответил Андрей. — Мы где-то встречались?

— Я был в вашей партии на Косе Тузла в 26-м, не помните? Ещё студентом.

— Не помню, извините. Там ведь такая суета образовалась. Да и студентов было много.

— Суета, да, — весело кивнул головой Максим. Видимо, ему приятно было вспомнить вольное студенческое время. — Нам выпало счастье наблюдать довольно редкий природный катаклизм. Я посвятил ему курсовую и добрую половину диплома.

Максим оживился. Новые и новые воспоминания выплыли у него в памяти.

— А Мишу не помните, Катю? Такая весёлая, в тельняшке и штормовке, — Максим перегнулся через стол. Глаза его сияли. — Они с Михаилом ещё потерялись однажды. Ушли вечером погулять, и мы их искали до самого утра. Все перенервничали.

— К сожалению, Максим, мы с Михаилом Николаевичем с некоторых пор страдаем провалами памяти, — тихо сказала Татьяна. — Это не то чтобы критично, работе не мешает, но такое случается, говорю вам как врач. Тому была причина.

— Извините, извините, мы знаем, читали о трагедии на Ветреном поясе, — быстро сказала Марьяна. — Мы в институте очень переживали

за вас. Очень. И рады, что всё обошлось более-менее благополучно.

— Мы работаем в Арктическом институте и сейчас почти все занимаемся планами Севморпути, — добавил Максим. — Марьяна приболела накануне, поэтому нас в санаторий отправили, чтоб по возвращении сразу включить в состав экспедиции в Арктику.

— Говорили, что с нами направят и вас, — добавила Марьяна.

Андрей кивнул. «Вот почему нам устроили отдых в хорошее время, — подумал он. — Чтоб не сетовали на здоровье и усталость, когда станут знакомить с приказом о формировании экспедиции. Но в каком качестве и как надолго, вот в чём вопрос?»

— Мы здесь давно, новостей из столицы не имеем, — сказал он. — Не говорят ли в институте о целях экспедиции?

— Насколько известно, готовятся не одна, а две экспедиции. Одна зимняя, на оленях, от Белого моря до финской границы. Вторая в Арктику, по полярным станциям. О целях работы в Арктике сказано пока мало. Речь идёт о расширении исследований на островах с ротацией смен полярных станций. Что касается экспедиции зимней, то о ней никто ничего пока не знает.

Андрей заметил, что при слове «ротация» Татьяна вздрогнула и побледнела. Они встали и попрощались, договорившись встретиться вечером на прогулке.

— Что с тобой, радость моя? — спросил Андрей во дворе, приобняв Татьяну за плечи. — Плохо себя чувствуешь?

— Нет, ничего, Андрюша, — ответила она тихо. — Не обращай внимания. Пройдёт.

Татьяна на секунду прижалась к нему, будто ища защиты. Но тут же отстранилась, взяла под руку.

— Просто устала немного, прости. Нам нужно поближе познакомиться с этими ребятами, — сказала она ему на ухо, чтоб не услышали супруги Ревенко. — Что там, в Москве, задумали, хотелось бы узнать. Какие-то планы верстают, нас уже распланировали. А мы гуляем себе и не знаем ничего.

— Экспедиции — это хорошо, но я всё-таки

намерен всерьёз заняться писательством, — твёрдо решил Андрей. — Буду проситься на вольные хлеба. Издательства звонят, в Союз советских писателей приняли, все требуют новых книг. А когда мне писать?

— А мне, если честно, хотелось бы пройти маршрут от Белого моря в глубь Беломорской Карелии, — сказала Татьяна. — Понятно, почему туда так стремятся. Отчёты Барченко спать не дают. Там же проходит граница Хибинских плато и Прибеломорской низменности. Там реально могут находиться «места силы».

— Что можно обнаружить зимой в поле? — удивился Андрей. — Прости, но это же Заполярье, снега без края.

— Зимой станут тундровые озёра и болота, — пояснила Татьяна. — Зимой экспедиция мобильнее. А для «мест силы» что зима, что лето — всё едино. Нужен только опыт. А в Арктику не хочу. Я Арктику боюсь.

— Скажешь тоже. Там открыли добрую полусотню станций. Много специалистов трудится, авиация, суда, порты строят, посёлки, города.

— Знаю я всё это, Андрюша. Знаю и всё равно боюсь.

— Ну, тогда просись на нарты к оленям.

— Не будет никаких нарт, дорогой Андрей. Не будет! — резко сказала Татьяна. — Зря они хлопочут.

— Опять ты за своё!

Вечером они встретили Максима и Марьяну на аллее за оградой санатория. Молодые, красивые, весёлые, переполненные ощущением, что вся жизнь впереди, они стали яркой парой и заметно выделялись среди пациентов. К тому же молодых не так уж часто можно было встретить в санаториях, подобных этому. Здесь привыкли к пожилым и заслуженным.

— Нам с тобой не очень-то повезло в таком возрасте, да? — с тихой грустью спросила Татьяна. — Хотя и у нас были и Крым, и счастье.

— Почему были? У нас и теперь всё есть, — весело ответил Андрей. — Вот ты, например, моё воплощённое счастье. И счастье это совсем рядом, могу коснуться рукой.

И он обнял Татьяну за плечи.

— А я вот гляжу на них, и мне почему-то хочется плакать, — грустно сказала Татьяна. —

Никакого горя в душе нет, наоборот, а плакать хочется.

— Ты женщина, а женщине иногда хочется поплакать. Ни от чего, без причины, просто так. Может быть, от эмоциональной переполненности, от счастья.

— Может быть, так, а может, и нет. Не знаю...

Оказалось, Марьяна доктор, окончила институт в Ленинграде и уже несколько лет работает врачом в медицинском отделе Арктического института. Отдел довольно большой. Сотрудники постоянно бывают на полярных станциях, на зимовках. Сама Марьяна ведёт большое исследование о влиянии своеобразных условий жизни на психику полярников. Мечтает вскоре защитить кандидатскую.

— Татьяна Николаевна, приходите к нам заведующей, — предложила Марьяна. — У нас уже полгода нет начальника. Мы вас знаем, много читали о ваших приключениях, знакомы с работами. Будем очень рады.

— А у вас есть полномочия для решения кадровых вопросов? — рассмеялась Татьяна. — Нет, о заведующем пусть думают наши отцы-академики. Мне пока таких предложений не поступало.

— Если предложат, непременно соглашайтесь, — настаивала Марьяна. — У нас больше практического дела, нежели в академии. У нас скучно не бывает. Обещаете?

— Договорились...

Ночью Андрей услышал, как она тихо стоит, свернувшись калачиком под одеялом. Не поднимая одеяла, он потихоньку сполз к ней и шёпотом спросил:

— Что с тобой, счастье моё? Болит?

— Не хотела тебя будить... Ноги тянет, просто мочи нет, — сказала жена сквозь слёзы. — Переходила я сегодня.

Да, вчера они гуляли по санаторному парку гораздо больше обычного. Максим оказался интересным рассказчиком. Он побывал во многих поездках и умел поведать о заурядной экспедиционной бестолковщине и нередких опасностях просто и с таким чувством самоиронии, что просто завораживал рассказами.

— У вас, Максим, безусловно, есть чутьё литератора, — сказал Андрей. От неожиданности

они даже остановились посреди аллеи. — Поясню. Свои рассказы вы строите в строгих рамках жанра. В них непременно есть завязка, развитие, кульминация и эпилог. Вы не учились случайно в литинституте?

— А что, бывает, там учатся случайно? — рассмеялся Максим.

— И очень часто, — поддержал шутку Андрей. — Я бы даже сказал — зачастую случайно.

— Ну что вы, Михаил Николаевич! Я бы не дерзнул. А рассказы... Наверное, оттого, что читаю много.

— Попробуйте писать, Максим, — Андрей был настойчив. — Я уверен, у вас получится.

— Думаю, с писанием не опоздаю, а вот с экспедициями — тут можно опоздать, тут и здоровье, и желание, и другие возможности потребуются.

— Вы правы, — согласилась Татьяна. — Особенно здоровье.

Не поднимая одеяла, в душной темноте кровати Андрей поцеловал Татьяну сначала в глаза и в шею, за одним ухом и за другим, и медленно стал опускаться всё ниже и ниже, отмечая короткими поцелуями жаркое со сна тело. Каждая ложбинка и складочка ему давно знакомы и пахли привычным и давно знакомым запахом.

Казалось, с юности известны ему и этот запах, и нежный жар кожи, и два жёстких шарика, которые он так любит перекачивать языком на мягком и упругом основании. Но и теперь, как всегда раньше, они возбуждают его кровь и туманят голову. И тот колючий клинышек внизу ему хорошо знаком. Он натывается на него всякий раз неожиданно и отстраняется немного, медлит, но потом продолжает свой путь. Потому что знает, клинышек скрывает самое сладкое, что только есть у него на свете, и способен подарить ту томительную и щемящую радость, которую можно испытать только с ней...

Потом, успокоившись, целует каждый пальчик её ноги, как целовал когда-то на скале посреди болота. Но тогда пальцы были мраморно-холодными от постоянной болотной сырости и такими же мертвенно-белыми. Лёгкими движениями массирует ступни, поднимаясь по голени выше и выше. Одну ногу, дру-

гую, и вот уже она наклоняется к нему, обнимает за шею и тянет к себе и шепчет горячо прямо в ухо:

— Ну, всё, всё, спасибо тебе, родной! Всё, больше не болит. Что б я без тебя делала. Иди ко мне. Иди.

— Ещё?! — в шутку удивляется он. — Вот как южный воздух влияет на молодых и красивых женщин!

— Полно тебе. Иди сюда. Хочу...

На их полянке возле обрыва по вечерам теперь становится зябко. Газеты полны репортажами с полей. Комбайны, наполняющие зерном закрома Родины, прописались на первых полосах всех газет от пионерской до главной «Правды». Скоро домой, на работу. Максим и Марьяна так и не смогли выдержать весь срок своей путёвки и сбежали через полторы недели. Накануне вечером они постучали в номер Карбасниковых и тихо, постоянно оглядываясь, сообщили через порог, что утром после завтрака возвращаются в Москву

— Ребята звонили, сборы идут полным ходом, а вы там прохлаждаетесь. Стыдно, мол.

Ревенко попросили непременно созвониться по возвращении.

— А вы, Татьяна Николаевна, непременно переходите к нам в институт, — ещё раз напомнила о предложении Марьяна. — Вместе полетим в экспедицию. Так интересно, так интересно...

Если в Крыму осень ещё только напоминала о себе холодными ветрами с моря и утренними зябкими туманами, в Москве всюю готовились к холодам. Шуршал под ногами опавший лист. По пути на работу, пока дворники не подмели тротуары, жёлтые, оранжево-красные и с пятнами оставшейся с лета зелени листья устлали тротуары. Было приятно брести и, словно корабль волну, разбрасывать ботинками по сторонам разноцветные ворохи. Почему-то именно такие походы по коврам из опавших листьев больше всего вспоминаются в первую половину зимы, когда ещё не привык к морозу, к снежной липкой крупе, и зима впереди кажется долгой и немного страшноватой.

После месячного отсутствия Москва показа-

лась Карбасниковым чуть-чуть испуганной. Радио и газеты источали бодрость и каждый день громко извещали о новых трудовых победах. Но в настроении людей невольно улавливалось гнетущее настроение. И в Академии наук тревожное ожидание сохранялось. Аресты, процессы, кадровая чехарда, подозрительность, неопределённость... Всё присутствовало и здесь. Президентом академии стал ботаник и флорист Комаров. К концу второй недели Карбасниковых пригласили к президенту.

— Приглашение к Самому дело всегда тревожное, — сказала Татьяна накануне вечером. — Что они там, наверху, задумали, хотела бы я знать.

У нового президента академии они ещё не были, и она выбирала, что бы такое надеть, чтоб выглядеть и официально, и в то же время женственно. Извечная проблема женщин, чьей судьбой определено служить рядом с большим начальством.

— Как там говорят у военных: меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют, — отшутился Андрей.

Президент Комаров встретил Карбасниковых у двери, проводил к столу и был, как принято говорить, сама любезность.

— Как отдохнули? — спросил он. — А то мне докладывали, одна из экспедиций далась вам тяжело.

— Отдохнули замечательно, — сказал Андрей. — Всё, что можно было поправить, поправили. Спасибо вам, Владимир Леонтьевич, за хлопоты.

— Значит, время подумать о новой серьёзной работе, — сказал Комаров. — Есть планы, есть новые предложения. Хотел бы сегодня обсудить с вами, выслушать мнения. Вы люди опытные. Что думаете на будущее?

— Если позволите, Владимир Леонтьевич, хотел бы вначале извиниться и просить вас о переводе на литературную работу, — решил Андрей. — Товарищи в руководстве Союза советских писателей — и Алексей Толстой, и Ставский, и Фадеев настоятельно рекомендуют мне всецело посвятить себя литературе. Они хотели обратиться к вам с просьбой официально, но я попросил отложить обращение

до личного разговора. Пишут читатели, просят издательства, но я пока связан делами службы. Как бы вы отнеслись к подобной просьбе?

— Скажу откровенно: жаль! — чуть помедлив, ответил сразу помрачневший Комаров. — Ваш возраст для науки наиболее подходящ. Вы ведь ещё и не развернулись в полную меру своего научного таланта. Это так, поверьте старику. Но и литературе таланты нужны не менее. Литература крайне важна для страны именно теперь, когда идёт формирование человека нового социалистического общества.

Предложение оказалось для него неожиданным, и Комаров сосредоточенно думал. Несколько минут он молчал, перекатывая в пальцах длинный, остро заточенный карандаш. Судя по всему, разговор, начавшийся не по плану, требовал какого-то другого продолжения, и президент оказался в сложном положении.

— Да, Михаил Николаевич, желание ваше вполне понятно. Прошу об одном. Давайте отложим решение вопроса на следующий год. Мы сверстали зимние планы, и значительное место в них отведено вам. Нужно ещё поработать на Арктику. А к весне решим.

Комаров задумался, встал из-за стола и прошёлся по кабинету, коротко взглядывая то на Карбасниковых, то на громадную карту на полстены. Затем вернулся, взял листок со стола и сказал горьким голосом:

— Теряем кадры, теряем. И обстоятельства из разряда непреодолимо объективных так складываются, и личные карьеры требуют своего, и другие вот просят. Полюбуйтесь: принесли ходатайство из Всесоюзного Арктического научно-исследовательского института. Татьяну Николаевну от нас забирают. Начальника медицинского отдела несколько месяцев не могут подобрать. Но здесь хоть не так обидно: институт наш, академический. Это не Союз писателей. Татьяну Николаевну уже завтра ждёт директор института товарищ Ширшов. Прошу сходить к нему и вас, Михаил Николаевич. Мы, академики, этой зимой активно подключаемся к ним. С Ширшовым обсудите детали предстоящей работы.

Директор Арктического НИИ Ширшов, молодой, подвижный, казалось, совсем не созданный для административной кабинетной работы, будто случайно оказался в просторном кабинете с массивным столом. При виде четы Карбасниковых широко развёл руки:

— Вот и наши легенды. А то мы тут совсем заждались!

— Да какие же мы легенды, — улынулась Татьяна. — Вот вы и есть самая настоящая легенда, Пётр Петрович!

К своим 34 годам гидролог и гидробиолог Ширшов поучаствовал в самых громких научных экспедициях: мёрз среди арктических льдов на «Челюскине» и «Сибирякове», зимовал на СП-1. Ещё раньше возглавлял экспедицию на Кольском полуострове, работал на Новой Земле; в 33 года доктор географических наук, в 34 — академик и директор института...

— Владимир Леонтьевич не очень на меня ругался, что сманил вас? — спросил Ширшов, указывая на кресла возле стола. — А то звонил вчера и, судя по голосу, был очень недоволен.

— Не ругался, только сетовал, что туго с кадрами, а работы впереди невпроворот, — ответил Андрей.

— Да, работы предстоит много, — сразу перейдя на рабочий тон, ответил Ширшов. — Мы готовим две экспедиции: небольшую, мобильную, на Кольский, и большую в Арктику, и в обеих зарезервировали место вам. Правда, в зимнюю планируем только Татьяну Николаевну.

Татьяна кивнула, мол, знаем, наслышаны, и Ширшов продолжил:

— Предварительный план таков: в ноябре поездом забрасываемся в Кандалакшу, далее на оленях с Терского берега Белого моря к финской границе. Мне известно, что Татьяна Николаевна работала по теме, которой занимался Барченко. Вот её и продолжит. Я сам был на Кольском в 1930 году, работал с ботаниками у Нотозера и реки Туломы и места эти знаю. Это очень интересные территории, во всех смыслах. Об Арктике у нас ещё будет время поговорить.

Ширшов поднялся с директорского кресла, взял стул и подсел поближе к Татьяне Николаевне:

— А к нам в медицинский отдел приходите хоть завтра. Наши девушки вас заждались. Ходили тут ко мне и по одной, и группами, рассказывали про вас.

— Завтра не получится, Пётр Петрович. Нужно уладить формальности с переводом и дела сдать в академии.

— Вот сдадите, и милости просим.

Татьяна хотела сказать, что зимняя экспедиция едва ли состоится, но Андрей был начеку. Он легонько тронул носком ботинка ногу Татьяны, и она поняла, смолчала. «Наверное, Андрей прав. Меня не слушают, как не слушали раньше. Я не остановлю, остановятся сами».

В конце ноября 1939 года в Умбе, пережидая перед началом маршрута снежный шторм с моря, члены экспедиции Арктического института услышали по радио сообщение об артиллерийском обстреле пограничной заставы близ местечка Майнила на Карельском перешейке. Погибли трое красноармейцев пограничников и офицер. Сообщалось об ультиматуме Молотова.

Пурга закончилась, но члены экспедиции не решались выходить в маршрут к Государственной границе. А ну как финский лётчик примет учёных за воинское подразделение. Запросили руководство института о дальнейших действиях. В ответ только молчание. 30 ноября сквозь хрип и свист в телефонной трубе услышали совет из Москвы: «Слушайте радио». Радио объявило о начале войны с Финляндией...

3

В медицинском отделе Татьяне нравилось всё — и небольшой коллектив из молодых энергичных женщин, объём и характер работы. На отделе лежала ответственность за отбор кадров в смены полярных станций, в дальние и многодневные и даже многомесячные экспедиции, в экипажи судов. Платили здесь много, поэтому дефицита кадров не было никогда. Попасть в Арктику на заработки стремились всякие, порой отсидевшие в лагерях, блатные, с поломанной, если не сказать изувеченной, психикой. Один такой человек мог

сорвать зимовку целой станции, погубить экспедицию, сорвать научные планы. Так и происходило иногда.

Татьяна и её сотрудницы выявляли таких, требовали исключения из списков кандидатов. Это не всегда приветствовалось начальством. Подчас бывший заключённый считался классным специалистом, владел нужной специальностью. Татьяну просили, требовали, откровенно давили на неё, ничего, мол, «притрётся».

— Да, — отвечала она, — так притрётся, что искры полетят...

И напоминала: на станции боевое оружие, спирт, горючее. Дорого встанет потом эвакуация, случись ЧП.

Сотрудницы отдела вылетали на дальние зимовки для оценки психологической атмосферы в маленьких коллективах, где в тесноте и в суровых климатических условиях работают специалисты.

И ещё Татьяне нравилось, что в отделе можно и нужно заниматься серьёзной наукой. Результаты отбора, критерии, статистика — всё это требовало осмысления, анализа, ложилось в основание очень важного научного труда для будущего практического применения. Именно такая работа и предполагалась в новой большой экспедиции в Арктику. Медицинский отдел был готов к ней уже к новому 1940 году. Очень помогала Марьяна. Она всё и всегда знала, помнила и оказывалась рядом в нужный момент. Татьяна свела в один индивидуальные планы сотрудниц отдела, готовых к вылету. Летела и сама.

Где-то в глубине души ей очень не хотелось сниматься с места. Но, как и других, её завертела-закружила-очаровала предэкспедиционная суета, увлекло томительное ожидание нового, неизведанного и, может быть, радостного, что может ждать впереди, в краях суровых и неизведанных.

Такие же чувства переживал и Андрей.

— Ты знаешь, хочу попасть на остров Колючин и Колючинскую губу, — говорил он вечером, когда они ужинали на своей кухоньке, и глаза его блестели азартным блеском.

— Там что, лёд теплее и мягче? — язвила Татьяна.

— Лёд как везде, — старался не замечать подначек Андрей. — А вот место какое-то проклятое. Нигде Арктика не создаёт столько проблем людям, как здесь. Капитан Воронин, к примеру, столько горя натерпелся, что пообещал при случае вообще взорвать этот остров к такой-то матери.

— Воронин и в других местах нахлебался столько, что не дай бог другим, — спокойно парировала Татьяна. — Всё в Арктике не взорвётся.

Ей не нравился задор, с которым муж рвался в Арктику, не нравились бесконечные разговоры на работе и дома. Она пыталась задавить это в себе, но страх невольной точил и точил, отравляя душу.

— Что Воронин! — запальчиво продолжал Андрей. — Колючинская губа остановила «Вегу» Норденшельда осенью 1878 года, здесь погиб самолёт «Советский Союз» в экспедиции Красинского в 1928-м, потерял винт «Сибиряков», тут же затёрло льдами «Челюскин», аварийно сел Ляпидевский... Ты посмотри, Таня, что это за место такое заговорённое! Доберусь! Непременно доберусь! И опишу потом...

— Не надо, Андрюша. Прошу тебя! — Татьяна говорила резко. — Почему думаешь, что, если другим не повезло, тебе непременно повезёт? Хочешь пополнить печальный мартиролог своим именем? Остаться в анналах истории ещё одной жертвой во имя науки?

— Ты ничего не понимаешь! Как писателю, мне просто необходимо побывать в этом месте, составить собственное представление и описать. Это мой долг.

— А передо мной у тебя долга нет? — выложила последний аргумент Татьяна.

— Есть, счастье моё! Есть! И очень большой! Поэтому мы полетим на Колючин вместе. Я уже договорился.

Который час ровно гудят за бортом моторы, а здесь, в выгородке, завешенной плотным брезентом, тепло и уютно. Как это принято с некоторых пор в самолётах полярной авиации, переднюю часть фюзеляжа отделяют таким образом, чтоб образовалась кабина человек на пять-шесть. Здесь всё укреплено накрепко: широкие скамьи и стол посредине. Хозяин в отсе-

ке-кабине бортмеханик, в полёте он главный, выложил на стол тушенку, сгущённое молоко, хлеб, вскипятил чайник, пригласил закусить.

В Якутске экспедиционная группа Андрея и Татьяны пересела с московского самолёта на самолёт полярной авиации и добралась до Тикси. Здесь на базе все переоделись в толстые меховые костюмы и поначалу смешно ошибались, не узнавали в новом облике друг друга. Следующая точка маршрута посёлок Нижние Кресты, что в низовьях Колымы. По плану отсюда группы разойдутся и разлетятся на острова вдоль побережья: к западу, к реке Индигирка, по направлению к новому порту Тикси у реки Лена, и к востоку, к Ванкарему и мысу Шмидта.

Из Нижних Крестов Андрей и Татьяна полетят на восток. Андрей сам выбрал этот маршрут. Чуть дальше по побережью, совсем рядом с Ванкаремом, Колючинская губа. Он прикинул по карте: полутора часов на маленьком самолёте хватит, чтобы облететь её всю. Судя по отчётам и дневникам, что удалось прочитать в Москве, сесть на лёд губы невозможно: одни торосы. Так хоть посмотрит сверху на это зловерное место. Этого достаточно, чтобы составить представление и смело писать: я там был...

Все наговорились, напились чаю, угрелись и дремлют под ровный звук мотора за бортом. И Татьяна совсем по-девчоночьи свернулась на лавке калачиком и тоже спит. Андрей слышит, как она тихонько постанывает и тяжело вздыхает во сне. У неё опять разболелись ноги. Она терпит и скрывает это даже от него. Наверное, боится, что оставят на базе.

А ему не спится. Он прикрыл глаза и вспоминает нескончаемую суету подготовки, совещания и споры, особенно ожесточённые и бескомпромиссные в канун выхода в экспедицию. Его удивило, как по-особенному жёстко повёл себя Максим. Теперь, когда всё это позади, о многом думается не так остро и кажется, чего было так ожесточённо воевать?

Они сблизились с Максимом и Марьяной. Вышло это не нарочито, а совсем буднично. Спустя несколько недель после возвращения из Крыма Максим позвонил и попросил разрешения зайти с рукописью.

— Не думайте, что забыл ваши советы, — сказал он с улыбкой и положил перед Андреем нетолстую стопку листов. — Не могли бы вы оценить немудрёный труд новоназначенного писателя?

Нарочитой церемониальностью он хотел скрыть некоторое волнение.

— Что это?

— Постарался переписать рассказы, учитывая ваши подсказки. Часть вы слышали, но большая часть из нового. Сразу заявляю, — сказал Максим, — в писатели не рвусь, своего дела переделать жизни не хватит, но если там есть хоть искра...

— Через неделю позвоню, и мы встретимся, — ответил Андрей серьёзно. — Но прошу учесть, на комплименты и на авансы я не способен.

Но на неделю его не хватило. В первый же вечер он одолел рукопись целиком и до полуночи пил чай на кухне и волновался тем волнением, которое редко испытывает редактор, в чьи руки попало свидетельство настоящего писательского таланта, нераскрытого пока, спящего, но абсолютно явного.

Утром Андрей позвонил Максиму, и тот пришёл заметно напряжённый.

— Скажу сразу, — начал Андрей. — У вас безусловный литературный дар. Вы неосознанно делаете то, чему другие учатся годами. Договоримся так: после экспедиции вы дорабатываете и дополняете рукопись новыми рассказами, поскольку здесь, — он поднял стопку над столом, — пока маловато для книги. А я иду с ней в издательство с уверенностью, что не печатать этого нельзя. А теперь о деталях технического плана...

И он стал говорить о том, что успел постичь в ремесле сам, что никаких таких «ребят» в рассказах быть не должно. Коли ввёл кого-то в произведение, будь любезен наделить — пусть штрихом — чертами характера, портретным абрисом. И что диалог не должен служить автору только для передачи информации, поскольку любой, пусть случайный разговор двух людей в основании непременно имеет конфликт...

И по тому, как слушал Максим, как горели его глаза, он понял, что всё у него непременно получится, даже без его участия. И, может

быть, лучше, если без его участия. Потому что первая книга не делает человека настоящим писателем. Сколько было ставших знаменитыми после первой книги? И где теперь многие, кого за руку ввели в литературу? Куда исчез так щедро авансированный талант?

Они с Татьяной не очень удивились, когда стало известно о назначении Максима Ревенко начальником экспедиции. Буквально за две недели до этого они с Марьяной защитились: он стал доктором, она кандидатом.

— Зато есть куда расти, — пошутила Марьяна Ревенко за столом, когда они вчетвером отмечали событие и в шутку упрекали её в отставании. — Буду продолжать заниматься наукой, а его сделают администратором. Он у меня командовать любит, — сказала про мужа смеясь. — И в партию вступил недавно. Большевиком стал.

Экспедиционная база-барак на окраине занесённого снегом по окнам посёлка Нижние Кресты оказалась по соседству с колонией разношерстного люда.

— А-а-а... Это работники Дальстроя, — сказал кто-то из местных в ответ на вопрос Андрея. — Вербованные, всякие там лишенцы и кулаки. А вот там, отдельно, — он показал рукой в огромной рваной рукавице на ворота и колючую проволоку, — там уже зэки, там зона. Туда нельзя.

На второй день в их барак заглянул молодой солдатик, совсем мальчишка. Он шмыгнул носом и спросил:

— Нет ли у вас в экспедиции учёного товарища Карбасникова?

— Я Карбасников, — поднялся Андрей. — В чём дело?

Солдатик обрадовался как ребёнок:

— Вас-то мне и надо, — широко улыбнулся он. — У нас там Мария Фёдоровна, Терентьева по фамилии, очень вас поджидает. Какие только научники не прилетят, так она обязательно просит: сходи, Ваня, порасспрашивай, вдруг Карбасников окажется. Приведи, будь другом, повидаться хочу.

— Она что, у вас в лагере?

— Не, не в лагере. Она расконвоированная, живёт отдельно. Пойдёмте со мной. Это недалеко. Там и поговорите.

Приглашение обескуражило. То, что Карбасников был знаком с Терентьевой, Андрей знал от него самого. Но виделись они лично или только переписывались, читали работы друг друга? В этом главный вопрос для него сейчас. Оба из Архангельска, оба бывали на Ветренном поясе... И если она не узнает в нём давнего знакомого, как поведёт себя? Поднимет шум, вызовет охрану, напишет? И как вести себя ему? Отказаться от встречи? Нелогично. Нормальные люди себя так вести не могут...

«Пойду, — решил Андрей. — Люди взрослые. Оба побывали за проволокой. Будь что будет».

Он сбежал к Максиму, рассказал о Терентьевой и необычном приглашении. Максим выдал из своих запасов две банки тушенки, гущённое молоко, большую пачку чая и осьмушку махорки на всякий случай.

— Можно мне захватить это? — спросил Андрей солдата. — Я в тряпицу заверну, чтоб не увидели.

— Для Марии Фёдоровны можно.

По заметённой улице, мимо едва видневшихся за сугробами домиков и лагерных ворот они прошли к дому, в котором оказалось два входа: у одной двери виднелась какая-то табличка, вторая ничем не обозначена. Солдатик валенком размёл в стороны сугроб на крыльчке и впустил Андрея в сенцы. В сенцах не видно ни зги, и Андрей остановился в нерешительности.

— Ну что вы? — сказал солдатик. — Стучите.

Сам постучал в невидимую дверь и, не ожидая, пока откроют, крикнул:

— Марья Фёдоровна, есть, есть Карбасников! Привёл! Отворяйте!

Дверь открылась, и Андрей увидел маленькую женщину в толстом бушлате и закутанную поверх в какие-то тряпки. На голове большой платок. Платок не повязан, а просто наброшен, и концы свисают вдоль плеч на валенки, будто крылья большой усталой птицы.

В тусклом свете лампочки Андрей разглядел небольшую комнату с печкой и со столом в углу, край которого занимали бумаги и книги. У стены койка с панцирной, провисшей чуть ни до пола сеткой. И на койке, и на столе, и на печке он отметил опрятность, знакомую по многим деревенским жилищам одиноких пожилых женщин.

– Спасибо тебе, Ваня! Порадовал бабу. Спасибо! Иди отдыхай! – сказала женщина и первой подала Андрею руку: – Ну, здравствуй, дорогой! Проходи, рассказывай. Ишь, забородател-от. На деда, однако, стал походить, будто одно лицо.

И, показывая на дверь, объяснила про солдата. Видимо, чтобы с первой минуты между ними не было недомолвок:

– Из нашего района парень, земляки. Родителей знаю и его, сопляком ещё. Помогает мне немножко.

Андрей понял, с этой женщиной оставаться Карбасниковым ему никак не получится.

– Ставьте чайник, Мария Федоровна. Разговор у нас долгий.

Терентьева подкинула в печь пару поленьев и долила чайник свежей водой.

– А это вам от нашей экспедиции. Гостинцы.

Андрей выложил на стол консервы и всё остальное.

– Вот это добро! – воскликнула она. – Спасибо! На тушенку хорошие валенки выменяю, а то эти до весны не дотянут. Сгущёнкой с Ваней поделимся, а уж чай никому не отдам. Я чаёвница ещё та! Мы все там, в Поморье, чаёвники да трескоеды – знаешь сам!

Они сели к столу, и Андрей, глядя в глаза Терентьевой, сказал:

– Не Карбасников я, Марья Фёдоровна. Я Андрей Никитин...

И не спеша рассказал о судьбе Карбасникова, историю своего побега, жизнь на Ветреном поясе и всё, что было потом...

– Миша, Миша... Мы с ним жили в разных деревнях, но через реку. Знали друг дружку с детства. Теперь, поди, ждёт меня там...

И не договорила, отвернулась на секунду сглотнуть нечаянный ком в горле.

Чайник вскипел. Они уже раза три выпили по эмалированной кружке крепчайшей заварки чаю. Терентьева скинула платок, и Андрей заметил, что она вовсе не старушка, какой показалась сразу.

– Всё-таки вы молодцы, – сказала она. – И я рада, что мой дом на реке стал вам в помощь. Честно тебе скажу – очень рада!

И добавила:

– Молодцы даже не потому, что ушли от этих, – она кивнула в сторону лагеря. – Не всем удаётся. Можешь мне поверить: насмотрелась; а то, что в новую жизнь вошли. Это вообще чудо. У нас тут донской казак десятку, как и я, тянет. Молодец мужик, удалой! Так у него поговорка: не тот казак, что победил, а тот, кто вывернулся...

– Вы-то как здесь оказались? Расскажите.

– Если о Крестах, то просто. Они же строят много: дороги, мосты, железнодорожные ветки. У начальства образования мало, будь у него хоть ромб, хоть шпала в петлицах. Ну и смыло один мост, весной уплыл другой, вместе с ледяной линзой у берега... Одному сразу ВМН* по-большевистски, с размаху, выписали, другому срок накинули. Тут сообразили, что специалисты нужны, геологи, чтобы грунты прежде посмотреть и место выбрать, и гидрологи, чтоб уровни воды весной и осенью спрогнозировать. И нашли меня в Мордовии. Я геолог, а вторая диссертация по гидрологии. Собрала целый отдел, тут за стенкой у меня...

За окном что-то тихо постукивало, потом сыпануло в раму, будто пригоршней песка. И снова стихло. Андрей отдернул занавеску. За окном никого не было. В слабом отсвете лампы увидел белые полосы струящегося снега. Снег летел не сверху вниз, как привычно было видеть в прежней жизни, а горизонтально, параллельно земле.

– Пурга началась, – равнодушно сказала Терентьева. – То-то думаю, чего ноги с вечера ломит. Теперь зарядит дня на три.

Андрей занавесил окно. В комнатке тепло от печки, даже жарко. Маленький уютный мирок посреди бушующей за окном свирепой непогоды.

– Взяли-то вас за что, если не секрет? Мы на Ветреном вас ждали. Экспедиция в плане стояла. А пришёл Василий Зеленков, да и то, считай, через год. Я читал ваш отчёт.

– Ты, Андрюша, тот отчёт не читал. Был другой...

Терентьева замолчала. Она долго сидела молча, ссутулившись, видимо размышляя, го-

* ВМН – высшая мера наказания.

ворить или нет то, что говорить явно не следовало. Потом поднялась, хотела налить себе чаю, но ручка чайника на раскалённой плите обожгла ладонь.

— Тьфу ты! Волнуюсь, видишь. Давно так не разговаривала. Не с кем тут разговаривать так, — она дважды сделала ударение на этом «так». Обернула тряпицей дужку чайника, долила горячего в свою кружку и под села поближе к Андрею.

— Видишь, какой звон стоит в газетах об освоении северо-восточных водных путей? Дальстрой, развитие портов и дорожной сети... «Правительство большевиков, в отличие от замшелого и косного царизма, думает о развитии Севера...» И прочее. Почему это вдруг? А просто. В канун Первой мировой вольные старатели докладывали, что в низовьях Колымы обнаружили громадные золотые россыпи. В конце 31-го года Обручев, Селищев, Билибин и другие подтвердили: да, золота много! И вот теперь тысячи заключённых вымерзают как тараканы, безо всякой надежды когда-нибудь выбраться и умереть на родном чернозёме.

Терентьева отпила глоток чаю, встала и энергично прошлась от стола к двери и обратно. Постояла, подумала и снова под села к Андрею. Она была взволнована. Застарелая, сидящая глубоко в душе немолодой и энергичной ещё женщины обида нашла наконец выход.

— Золото надо большевикам, дорогой мой Андрюша, золото, а не развитие северных путей, — сказала она зло. — Вы ещё молод, вы увидите: выгребут золото и тут же бросят всё — и дороги, и порты, и посёлки вместе с нами. Верить им нельзя, вот что. Про золото и Дальстрой постановление приняли секретное, про освоение северных водных путей — раззвонили на весь мир.

«Зачем она об этом говорит, — подумал Андрей. — И золото необходимо стране, что в том плохого? И посёлки строить надо, и порты, и аэродромы. Наша ведь территория, российская».

— Вы что-нибудь слышали о Барченко? Знакомы с его темой, хотя бы шапочно? — неожиданно переменила тему Терентьева.

— Да, слышал. По его теме работала моя жена. На Ветреном поясе мы этим занимались почти год.

Терентьева резко отодвинула кружку. Чай выплеснулся на клеёнку и тонкой коричневой струйкой протёк на пол. Она встала.

— Знаете что, Андрюша, бегите от этой темы куда глаза глядят! Ищите с женой любые поводы уклониться — сломайте ногу, потеряйте память. Что угодно, иначе конец...

Андрей тоже встал:

— Мария Фёдоровна, что вы такое говорите! Это только наука! Это изучение природных аномалий! Как можно!

Терентьева устало присела к столу, вытерла тряпочкой разлитый чай.

— Послушайте меня, молодой человек, — сказала жёстким голосом. — Все, кто занимался этой темой, сошли в могилу или просто исчезли, растворились в пространстве и времени. Я знаю другое: кто занимается этим сейчас, скоро уйдут вслед за ними.

Андрей был обескуражен и спросил в недоумении:

— Почему вы в этом убеждены?

— В НКВД очень боятся утечек. Поэтому уничтожают тех, кто добывает данные о «местах силы». Привыкли чужими руками жар загребать. И с той стороны сделают всё, чтобы не допустить...

— С какой той стороны?

— Кто владеет этим знанием, не подпустит к нему современных людей на пушечный выстрел. Заберёт к себе.

«Что она говорит вообще, — взволнованно думал Никитин. — Мы занимаемся изучением неизведанного. Это нормальная работа учёного. Что тут такого? Да, «места силы» обещают человечеству многое. Это как дверь к новым возможностям для всего человечества. Конечно, очень важно, в какие руки эти возможности попадут, во имя чего будут использованы. Но человек ведь изначально, на генном уровне гуманен. Не верю, что он самоубийца. И цель его состоит в продолжении, а не в уничтожении цивилизации...»

— Да, согласна, — ответила вдруг Терентьева. — Человек изначально гуманен. Но давайте

посмотрим вокруг на труды его. Особенно в девятнадцатом и двадцатом веке. Да и раньше, потрудились на этой ниве так, что страшно вспомнить. И это вы называете гуманизмом?

«Как это? — испуганно подумал Андрей. — Она ещё и мысли читать умеет!»

Похоже, она и сама не заметила, что ответила на вопрос, который не прозвучал.

— Вот вы спрашивали о моём аресте, — продолжила Терентьева. — Хорошо, расскажу. Я сдала отчёт по «местам силы» в лабораторию Барченко, и они велели составить план исследований на следующий год. Экспедиция предполагалась большая, охватывала весь горный массив, все 250 километров. Я поняла, что в этом случае могут быть хорошие результаты. Я не хотела этих результатов...

— Мария Фёдоровна, о чём это вы? Странным кажется учёный, который собирается в поле и не хочет получить хороших результатов. Поясните.

— Хорошо, скажу прямо, как есть. Меня предупредили, что в случае удачи ни один из членов экспедиции с Ветреного пояса не выйдет.

Андрей ошеломлённо глядел на Терентьеву, не понимая, верить ли ему или нет. Не дурачит ли его случаем эта странная женщина.

— И что было потом?

— Я подала служебную записку, что подобная экспедиция в ближайшей перспективе невозможна вообще. Также заявила о невозможности моего участия.

— Кто вас предупредил о подобном исходе?

— Не знаю. Думаю, та сторона, то есть хозяева «мест силы».

— И что было дальше?

— Дальше просто. Метод у них отработан. Уговорили одну дурочку в лаборатории строчить на меня доносы: «сказала то...», «негативно высказалась о статье в «Правде», «пренебрежительно отозвалась о члене правительства тов...» Я потом читала у следователя. В результате набрали на десятку по 58-й, часть 10-я. И слава богу! Наверное, одна я и осталась в живых от прежнего гарема товарища Барченко.

— Да уж, Мария Фёдоровна, что называется, утешили. Как же нам быть? У меня задача непременно побывать в Колючинской губе. Это

не только научный, больше писательский интерес.

— Мой вам совет — откажитесь. Пока не поздно, откажитесь. Тем более это Колючин, на котором многие зубы сломали.

Пурга зверствовала над Нижними Крестами трое суток. Максим Ревенко даже дежурство установил, и теперь все сотрудники парами выходили откапывать входную дверь на базу. Кроме того, один раз в сутки целой бригадой пробивали тоннель к заметённой напрочь улице, к навесу с дровами и будке туалета. Пустышная вроде работа, но вымокнуть от пота успевали все. Снегу за сутки накидывало тонны.

Татьяна на общие работы не выходила, болела. Она плохо перенесла перелёт с Большой земли. Совсем сдали ноги, она мучилась, плохо спала. Андрей тревожно просыпался среди ночи и видел, как она пытается отвлечься от боли и с плохо скрываемой гримасой читает при свете маленькой, засиженной мухами лампочки.

— Не могу, Андрюша, — тихо отвечала на уговоры отдохнуть. — Тяжело. И ноги, и всё... Когда же мы улетим в твою бухту?

— Ты хотела сказать — слетаем и вернёмся? Там ведь сесть некуда, радость моя. Я ведь предупреждал.

Татьяна смотрела на Андрея долгим и нежным взглядом, как мать смотрит на любимого дитя-несмышлёныша, и улыбалась.

— Слетаем, конечно, слетаем.

— Смены разбросают по станциям, самолёт освободится, и улетим. Мы с Максимом договорились так. А ты поправляйся пока.

Однако с вылетом оказалось не так просто. Коллективы на метеостанциях сменили, и группы специалистов уже прошли короткими маршрутами там, где это требовала научная программа, и самолёт по нескольку суток стоял на приколе, тщательно закреплённый растяжками от ветра. Однако начальник разрешения на полёт в Колючинскую губу не давал.

Андрей с Татьяной уже побывали на некоторых дальних станциях, провели нужные исследования. Они отмечали, как их молодой

товарищ всё больше и больше входил в роль авторитарного руководителя. Дело дошло до разговора на повышенных тонах.

— Здесь я вам не Максим, а товарищ Ревенко, — резко осадил он разгорячённого задержкой Андрея. — Облёт Колючинской губы потребует дополнительного горючего и сократит моторесурс самолёта. В то же время он не значится в наших планах.

— Как не значится? — возмутился Андрей. — Мы же договорились в Москве!

— Мы просто говорили об этом, так сказать, в процессе общего обсуждения перспектив, — равнодушно ответил Максим. — И хочу напомнить, на мне тогда не было ответственности начальника экспедиции.

Андрею казалось, этого человека, вольно сидящего через стол напротив, он никогда не знал и видит впервые.

— Смешно слышать про моторесурс, — пытался настаивать Андрей. — Час-полтора полёта ничего не значат для самолёта, срок эксплуатации которого рассчитан на десятилетия.

— Ничего обещать не могу, товарищ Карбасников. Инициатором выступать не стану. Буду запрашивать Москву. Под их ответственность. У нас большая программа, а Колючин, как я понимаю, представляет для вас не научный, а писательский интерес. Творческая экскурсия, так сказать.

Татьяну расстраивала неожиданная перемена в Максиме. Когда Андрей пересказал разговор с ним, они с ней долго молчали, сокрушенно думая, что ошиблись в человеке и что поправить ничего нельзя. Да и как поправишь теперь? В Москве ещё можно было отказаться, а тут...

— Хорошо начал, по-большевистски, — заключил Андрей. — Поверь: быть ему директором института и академиком.

Татьяна попробовала поговорить об этих переменах в муже с Марьяной.

— А я что, слепая? — ответила она грустно. — Говорила ему, помягче, поделикатнее с людьми, он и слушать не хочет. «Занимайся своим делом и не лезь в мой», — вот и весь ответ.

— Тем более, надо лететь в Колючинскую губу, — сказала Татьяна Андрею. — Я, правда, сомневалась, а теперь знаю точно: не хочу ос-

таваться здесь, очень не хочу. Устала от такой жизни. Мы с тобой точно улетим отсюда...

— Здесь экспедиция, здесь всем тяжело.

— И здесь, и в Москве — везде...

Андрей снова не понял, почему она сказала «улетаем», а не «слетаем, посмотрим и вернёмся». Так она говорила и прежде. Почему в её голосе слышатся и отчаяние, и обречённость, и одновременно облегчение? Но переспрашивать не стал, знал, она снова улыбнётся и посмотрит как на маленького.

Через неделю в каморку Карбасниковых, отгороженную от общего помещения базы, начальник экспедиции прислал посыльного с предложением прибыть для беседы и инструктажа. Сам он давно перестал приходить в комнаты членов экспедиции. Посылал нарочных. Максим встретил хмуро:

— Москва дала «добро» на облёт губы, — сказал он, не скрывая неудовольствия. — Скажу честно: я был против. Но решение отменить не могу. Однако в маршрутном задании пилоту своей властью укажу облёт только ближайшей, западной части, а не всей береговой линии. Вам ведь всё равно — что западная, что восточная: что там лёд, что тут...

— Там губа-то всего ничего, — попытался вставить реплику Андрей.

— Завтра вылет в 12 ноль-ноль, — продолжил Ревенко, не обращая внимания на Андрея. И в завершение добавил приказным тоном: — По возвращении составите письменный отчёт для меня, с указанием границ распространения ломаного льда в губе и вокруг острова Колючин. Ступайте, готовьтесь.

— Почему так изменяются люди? — тихо спрашивала Татьяна. — Наверное, это есть внутри каждого и при определённых внешних обстоятельствах прорывается наружу. И тогда милый, интересный и понимающий собеседник вдруг покрывается бронёй чиновника администратора. Или не у каждого, а только у некоторых? Загадка. И какими внешними обстоятельствами обуславливается подобная метаморфоза? Локальными, как в нашем случае, либо масштабными, в стране?

Они лежали в своей каморке на жёстком топчане с накинутым поверх досок спальником из собачьей шерсти. За стеной барака-базы непривычно тихо. Только в общей половине изредка кто-то всхрапнёт да тьякнет собака у входа.

Андрей не отвечал. Да она и не ждала ответа. Просто размышляла вслух.

— Жалко, очень жалко...

— Чего тебе жалко, счастье моё? — спросил Андрей. — Чего нам жалеть? Что обманулись в Максиме, приняли за другого? Ну да ладно. Вернёмся домой и забудем о нём как плохой сон. Мы с тобой столько вынесли, чего нам очередной карьерист. А теперь только живи...

Она резко повернулась к нему, крепко обняла и закрыла губы своими губами:

— Молчи, — прошептала едва слышно. — Молчи...

Потом отстранилась и спросила, не говорила ли Терентьева о находках на Ветреном поясе во время её экспедиции. Может быть, намёком, оговоркой. Андрей вспомнил их долгий разговор за чаем в жаркой комнатке.

— Говорила, что там должны быть не только «места силы», мол, они встречаются на Севере часто, но какие-то то ли пещеры и пропасти, то ли тоннели. Она вспоминала, что на них указывали Барченко, Ферсман и другие, кто побывал на Кольском полуострове.

— Вспомни, милый, что она сказала ещё. Ну, пожалуйста, и поточнее.

— Да, Терентьева ещё сказала, что из-за этих тоннелей или пещер она и сорвала большую экспедицию. Мне плохо верится, но она сказала, что в них могут исчезать не один-два заблудившихся охотника, как часто можно слышать от местных жителей, но и десятки людей, даже пароходы и самолёты. Мол, она получила такое предупреждение-угрозу. Чушь, конечно, полная.

— Не скажи, Андриюшенька. Не скажи...

— Ты опять что-то такое чувствуешь, а мне не говоришь, — расстроился Андрей. — Эти твои постоянные оговорки меня беспокоят. Терентьева, та вообще стала вдруг отвечать на вопросы, которые я ещё не задал. Что вы все, колдуньи, что ли, на самом-то деле? А ещё учёные, что та, что другая...

— Мы женщины и чувствуем тоньше и полнее. В женщине зарождается и длится почти год новая жизнь. Мы живём за двоих и обязаны много и тонко чувствовать. Мужчина создан для грубой и тяжёлой работы. Он так не сможет, стогрит. У него другая роль. Поэтому и передача информации через женщину вполне объяснима и понятна.

— Хорошо, — остановил жену Андрей. — Ты мне ещё лекцию об особенностях женской психики прочитай. Ну, скажи мне, бесчувственному болвану, что тебе передают? Что с нами будет завтра?

— Завтра мы соберём наши вещи, аккуратно сложим на этом топчане и улетим в Колучинскую губу.

— А потом?

— Мы улетим. А что будет потом, не знаю. Думаю, всё будет хорошо. Лучше, чем было до сих пор.

И снова, как это было и день, и два назад, он проснулся среди ночи в тревоге. Ему показалось, что началась пурга. Он подумал, что Максим воспользуется этим и отложит вылет. Но за стеной барака было тихо. Только брёвна потрескивали от мороза. Татьяна лежала, укрывшись меховым одеялом с головой. Андрей прислушался. Она снова украдкой, совсем по-детски плакала...

После завтрака Татьяна стала собирать и упаковывать в походный мешок все вещи свои и Андрея. Он попытался остановить её:

— Мы же вернёмся через пару часов. Зачем это всё добро упаковывать-распаковывать? Что за блажь?

— Мы же договорились вчера, — ответила Татьяна спокойно. — Всё соберём и сложим. Не мешай.

И когда неуклюжий, кособокий мешок, набитый вещами, натуго завязали и прислонили к стене, чтоб не заваливался набок, Андрей тихо попросил:

— Таня, закрой дверь на крючок, пожалуйста.

Она накинула крючок и уже догадывалась, что последует дальше.

— Раздеваемся, — не то спросил, не то приказал Андрей. Она не ответила. Быстро стала скидывать на пол меховую куртку, унты, толстые меховые штаны...

— Ну что ты копаешься? Что? — говорила ему свистящим шёпотом, радостная и возбуждённая. Она хотела, очень хотела это «раздеваемся!» сказать сама, но почему-то не смогла, не сумела. — Быстрее!

И жаркая, сильная, властная прижала его к топчану маленькой упругой грудью.

— Мой, мой, мой! Навсегда! Теперь навечно...

Радиограмма. «Москва. ВНИИ Арктики и Антарктики. Ширшову.

Вчера означенное время самолёт ледовой разведки не вернулся облёта Колючинской губы. Борту находились сотрудники Карбасников М.Н. и Карбасникова-Ракитина Т.Н., пилот. Воздуха и наземными маршрутами осмотрены поверхность губы, остров Колючин, ближайшее побережье. Открытой воды не наблюдается. Поисковыми мероприятиями течение двух суток следов посадки или катастрофы не обнаружено. Поиски продолжаем. Ревенко».

Начальник экспедиции М. Ревенко вошёл в закуток Карбасниковых и тяжело присел на топчан. Все эти суматошные дни настроение у него было неважное. Да и как может быть иначе? Предстоит писать служебную записку в Москву, объясняться.

Положение более чем нелепое. Как могло случиться, что самолёт исчез, а на земле ни одного следа? Что такое? Ладно бы открытое море, ушёл на дно, так голый лёд на много миль вокруг. Куда делся? В космос улетел? За границу? Горючего на два часа полёта. Смешно. Он руководитель экспедиции, как это сможет объяснить?

В закутке прохладно. «Надо бы кого-то поселить, чтоб живым духом пахло. А то будто в кладовой», — подумал он. Он посидел ещё минуту, потрогал мешок с вещами Карбасниковых и хотел было уйти. Завтра даст команду завхозу — пусть разбирается с вещами. Всё нужно сдать на склад.

Внимание Ревенко привлёк небольшой вытертый саквояж. Начальник придвинул к себе и открыл. В саквояже нащупал папку, вынул, развязал тесёмки. Перед ним лежала почти

завершённая рукопись книги Карбасникова листов на пятнадцать. Максим перелистнул страницы. Судя по всему, рукопись почти завершена и автор уже прошёл редактуру по тексту. Некоторые страницы испещрены пометками и правкой. На заглавной странице под авторской подписью прочитал название: «Неоконченный маршрут».

Начальник экспедиции подумал, нахмурился, достал из внутреннего кармана толстый синий карандаш и густо, на несколько раз, зачеркнул фамилию автора. Затем чётким, угловатым почерком написал сверху страницы свою.

4

Синий, переходящий в нежную голубизну у горизонта, бездонный небосвод над головой. День, наполненный сияющим солнечным светом. Блистающий снег за домами. Ожерелье из заснеженных горных кражей, как красочный задник в театре...

Перед зданием администрации новенькая трибуна из свежих досок. По краям и позади яркие флаги и портреты вождей. Справа от трибуны высокая П-образная арка с перекладиной, напоминающей качели либо виселицу, — тут уж у кого какое настроение на этот момент. Площадь перед трибуной полна народу. Тут мёрзнут, тихо переговариваются и курят в рукав.

На трибуну поднимается начальство. Белые полушубки, высокие папахи, ремни на тугих животах, торжественно-суровые лица и громкие речи... «Трудящиеся Севвостока докладывают партии и правительству...», «досрочный пуск нового прииска», «большевистская воля победила суровую природу Колымы...», «даёшь больше золота стране!»

Начинается награждение: «Благодаря самоотверженной работе специалиста Терентьевой Севвостокагу удалось сэкономить сотни тысяч рублей на прокладке новых трасс. Правительство высоко отметило работу Терентьевой орденом Трудового Красного Знамени и сокращением срока заключения...»

Наступает самый торжественный момент. На перекладине поднимается громадный портрет того, кого должны благодарить и те, в

портупаях, и те, кто курит в рукав. Полотнище медленно ползёт вверх. Но что-то заедает, и портрет повисает, парусит. Ветром его закручивает в рулон...

— Поднимай! Поднимай! Поднимай! — кричат с трибуны куда-то вниз. — Кому сказал, собака! А ну поднимай!

...Она чувствует, куда-то тянут, но ничего не видит и не понимает. Тянут и тянут... Слышит только жёсткий командный голос, знакомый за много лет и оттого особенно неприятный: «Поднимай! Поднимай!» Её подняли и, как тряпичную куклу, посадили на жёсткую скамью за холодной вокзальной печкой. Тот же голос режет уши:

— Чего разлеглась? Не положено тут! Кто такая? Документы есть? А ну...

Ощупью, не открывая глаз, она находит карман, достаёт бумаги. Этот большой карман она пришила возле подмышки недавно. Карман вместительный. Документы из него украть теперь не так-то просто. В голове немного прояснилось. Она замечает фигуру человека в форме и протягивает бумаги.

— Какая такая Терентьева? — слышит она тот же голос, теперь немного удивлённый. — Мария Фёдоровна? Какая Терентьева? — голос уже кричит. — Спрашиваю тебя, какая Терентьева?!!

— Читать разучился, гражданин начальник, — говорит еле слышно, одними губами.

— Марья Фёдоровна, так это вы? — кричит голос. — Откуда здесь? Не узнаёте меня, я Иван, Ваня! Марья Фёдоровна! Да что же это, а?

Но она снова никого не узнаёт и не слышит. Откинулась на спинку скамьи и тихо сползла на бок...

Теперь она очнулась на белом топчане вокзального медпункта от резкого запаха нашатыря. Никак не может понять, почему и где находится. Белый потолок, плакаты на стенах, на плакатах человеческое тело в разрезе, противный запах...

— Нет, товарищ сержант, не нужно в больницу, — слышит незнакомый голос. — Это обычный голодный обморок. Чуток подкормить, дать отлежаться, и пойдёт, пойдёт, никуда не денется.

— Вот деньги, — это всё тот же командирский голос. — Сгоняй в буфет, принеси поесть что-нибудь сытного и горячего. И сладкого чаю два стакана. Быстро!

Она совсем не помнит, как её привезли в этот домик, в маленькую комнатку, где стол, кровать и обычные вещи обычных людей. Смутно, отрывками, вспоминается, будто везли за реку — плескало рядом и брызги на лице. И кто затопил печь, она не помнит. У неё сладко кружится голова и лёгкое упоительное блаженство от давно не испытанной сытости пьянит и усыпляет. Она проснулась от хлопанья двери и от того, что стало жарко.

— Как вы себя чувствуете, Мария Фёдоровна? Ничего не болит? — участливо поинтересовался Иван. Он проверил, нет ли в печке угарных головёшек, закрыл трубу и подсел к её кровати.

— Как в раю, Ваня, чувствую. Спасибо тебе! — И, немного помедлив, спросила, не удержалась, как выдохнула: — А ты всё у этих служишь? Колымы не наелся?

— А что мне ещё делать? Демобилизовался, а в деревне шаром покати. Семью не прокормишь.

— У тебя и семья теперь?

— Жена и сын. Вы-то как здесь оказались, Мария Фёдоровна, расскажите?

Терентьевой говорить трудно. Нет сил. Иван подсаживается поближе к кровати, повторяет:

— Когда вернулись?

— Навигация открылась, меня из Крестов вывезли. Орден дали, срок сократили — вольняшка. Три месяца в Архангельске. Если бы задержалась, как уговаривали, там бы навек и осталась. Думаю, с началом войны наш брат заключённый весь там останется.

— На что живёте, Марья Фёдоровна? И где? С вашими-то специальностями...

— Квартиру мою заняли чужие люди. Даже разговаривать не захотели. На старой работе в институте все начальники новые, меня не помнят и от меня шарахаются. Нигде я не живу, Ваня. И жить мне не на что.

— Давайте пока так. Кегостров мой район. Поживите здесь, а завтра я похлопочу насчёт работы. Тут аэродром, при нём метеоплощад-

ка. Слышал, будто специалиста у них вчера мобилизовали.

— А что я скажу, когда сюда хозяева явятся?

— Не явятся, Мария Фёдоровна. Они уже никуда не явятся.

Аэродром маленький, метеоплощадка крохотная, дело хоть и не по профилю, но не сложное, и жить можно. Тем более, война на дворе. Сотрудники из obsługi переведены на казарменное положение, и положенный паёк всегда выдают вовремя.

Для Марии Фёдоровны никакой казармы не нужно. У неё свой домишко рядышком, только за аэродромный забор зайди. Неудобство, конечно, рёв этот самолётный, бывает, и среди ночи. Но тут уже выбирать не из чего. Приходится привыкать.

К дому она привыкла быстро. Кто там жил до неё, она не знает, но зауважала сразу. Порядок во всём. Опрятность и чистота. Будто жил человек и однажды просто вышел на минутку по хозяйству и не вернулся. А недавно во время уборки почувствовала под клеёнкой на комодке какие-то бумаги. Достала. Бумаг оказалось три. Они слиплись от лежания, кое-где по углам даже порвались. Она развернула ту, что лежала сверху:

«Справка. Дана Таисья Дмитриевны Полузёровой что она состоит членом колхоза «Красный батрак» и имеет трудовней в текущем году 35. Выдана для предъявления по требованию. Председатель колхоза Михалёв Прохор».

Следующая бумага оказалась направлением в больницу: «Член колхоза «Красный батрак» Полузёрова Т.Д. направляется в район на лечение как таскала на ферме бидоны занемогла животом и не может больше работать. Председатель колхоза Михалёв Прохор. Председатель с/с Михалёва Дарья».

Третьим было письмо от матери: «Привет с дома. Таисьюшка, радость моя единственная, у нас стряслась беда соседские пацаны этих приезжих баловались с огнем и сожгли колхозное сено на луговине и показали на нас. С района приехали аж три начальника снимали показания я всё рассказала как есть они слу-

шали всё записывали как ты уехавши увезли в район Николая и наказали председателю сообщить когда ты вернешься. Не возвращайся доча тебя тоже заарестуют задержишься где-нибудь а эти приезжие откуда то не русские ходят радуются и пальцем кажут. Спрячься доча не приезжай. Мама».

Терентьева сложила бумаги и убрала обратно под клеёнку. Теперь ей вовсе нетрудно было догадаться о судьбе прежней хозяйки дома.

Раз в неделю или две забегал Иван. Он заметно осунулся, помрачнел и выглядел хмуро. Иван приносил с собой то пачку печенья, то кулёк слипшихся леденцов. На ворчание Терентьевой, мол, нёс бы домой ребёнку, отмахивался: ему хватает. Однажды под вечер Иван пришёл совсем расстроенный. Она поняла, что в душе у него накипело и нужно поговориться.

— Что, Ваня, укатили сивку крутые горки?

— Не могу больше, — сказал со злобой. — Заявление на фронт написал. Там хоть понятно, кто враг. А тут...

— О семье подумай. Они-то как.

— Всех не убьют, Марья Фёдоровна. Кто-то ведь и вернётся. Вот и я вернусь. Гибнуть просто так не собираюсь.

— Тут-то тебе чего не послужится? Бомбы на голову не падают, в атаку ходить не надо.

— Да, верно. И тут работы много. Сам не ожидал, сколько гадов рядом окажется. Живёшь мирно, и вроде все свои, все товарищи. А прижмёт, и полезли...

— И куда они, эти наши с тобой товарищи граждане, ползут? — не удержалась и съязвила Терентьева. — В коммунизм, наверное.

— Вчера поджигальщиков ловили, — не подержал тона Иван. — Самолёт мимо пролетит, они раз керосинчиком и подождли. То дом, то штабель товарных досок, то ещё что-то. А зажигалок никто не бросал. И людей грабят, и сигналы фонариком подают...

— А разве же это для тебя, Ваня, не настоящее дело?

— Не могу больше. Ведь с врагами и честных берут. Без разбора. На всякий случай: мол, война, разбираться некогда. Третьего дня целый вагон отправили. Старики, женщины, дети орут...

– Ты разве забыл, что в Москве говорят на этот счёт? Лес рубят, щепки летят. Щепки, Ваня. Целый вагон щепок...

– Да, Мария Фёдоровна, насмотрелся на Колыме, думал, привык. Нет, не привык. Да и можно ли привыкнуть к этому, не знаю. Водкой совесть глушить, как другие, не могу. Нет, на фронт ухажу, на фронт.

– Это твоя работа теперь, Ванюша. Сам выбрал. Терпи...

Ближе к осени земляной аэродром на Кегострове нагрузили сверх всяких пределов. К грузам собственным прибавились конвои союзников. По всему чувствовалось, дела на фронтах складываются неважно. Маленькие лёгкие самолёты отогнали на дальнюю стоянку. Летали они теперь так, чтоб не мешать авиации главной, военной.

Но и местные маршруты никто не отменял. Их называли здесь «береговыми». Самолёт летел вдоль побережья от села к селу, брал случайных пассажиров, чаще всего больных, доставлял бочки с соляжкой и керосином, почту. Обязательными были осенние рейсы по морским островам, где работали маяки и жили семьи маячных служащих.

С началом октября вода в Северной Двине потемнела, будто насупилась тревожно в ожидании долгих холодов. Залетали белые мухи, и ночами земля стала каменеть под сапогом. Идёшь утром на метеоплощадку снимать показания с приборов, а каблуки тукают, словно по льду. Сегодня утром возле диспетчерской встретила знакомого пилота. Хмурый, недовольный и даже злой.

– Что, Петрович, злой с утра? С женой поцапался?

– С женой пять раз на дню цапаемся, Мария Фёдоровна, и это не повод злиться. На то она и жена.

– Так чего недоволен? Или повестку прислали?

– Тыфу на тебя с этой повесткой! Сам просился, а мне говорят, тебе, мол, за полтинник набежало, помоложе орлы имеются. Летай в тылу на своём «рус-фанере» дальше. «Рус-фанер»... Говорят, немчура название придумала.

– А ты и расстроился, бедный...

– Да не о том. Предупредили вот: дня через три на острова лететь, по маякам. Соляжку, та-вот, фуфайки, муку, сахар, лампы для керосинок... Всё им там надо – зима-то долгая. А я что, спорю? Конечно, надо. А мне садиться знаешь как? Где ты видала там нормальную полосу? Нету! На полянку или на бережок, на песочек. Десять потов сойдёт. Э-э-эх!

На следующий день, неурочно, прямо в рабочее время, пришёл Иван. В этот раз был он особенно хмур и неразговорчив. Молча выпил кружку чаю и старался не глядеть в глаза Терентьевой. Она почувствовала неладное.

– Ничего, Ваня, не хмурься, говори. Ты ведь знаешь, я баба битая.

– Плохи наши дела, Мария Фёдоровна. Совсем плохи.

– Хватит тебе бабские охи разводить. Что стряслось?

– Утром нас собрали и довели решение Москвы. В связи с крайне трудным военным положением – немцы под самой Москвой, всех бывших с 58-й статьёй разыскать, быстро оформить и отправить в лагеря. Кто чалился по части шпионаж, сотрудничество с иногосударствами, тех вплоть до ВМН. Уполномоченным по районам дали на сбор трое суток. У меня на Кегострове было с 58-й три человека. Теперь вы одна.

Это был удар. Подлый, неожиданный, жёсткий. Рушилось всё, что только-только наладилось. И что теперь делать, неизвестно. Они сидели молча, судорожно отыскивая выход из положения. Но решение не приходило.

– Хоть стреляйся, – сказал Иван. – Сучья работа! Ведь и досрочные освобождения с 58-й давали, и ордена. Люди вину искупили. И что, всё побоку? Всех зачистить! Подчистую! Сволочи!

Но решение у Терентьевой уже созрело. И потому, как спокойно стало на сердце, поняла – решение верное. Она проводила Ивана до двери и попросила:

– Вот что, Ваня. Стреляться не нужно. У нас ещё есть время. Приходи сюда послезавтра. Я знаю, что делать.

– Что?

– Вот послезавтра и узнаешь.

Через два дня маленький самолётик Петровича с загруженным от хвоста до кабины фюзеляжем с вечера стоял наготове у взлётной полосы. Терентьева проснулась рано, прибрала в домике, растопила печь и бросила в огонь все свои документы. На столе оставила записку: «Прощай, Ваня! Спасибо тебе за всё! Не ищи — меня больше нет. На память о Колыме прими эту брошку. Прости, что она оказалась такая дешёвая. Терентьева».

На записку положила свой орден. Потом достала из-под клеёнки на комодке бумаги прежней хозяйки. «Ну, что же, побывала кандидатом наук и руководителем научной экспедиции, потом стала заключённой и врагом народа. Теперь побуду колхозницей Таисьей Полузёровой. Это ничего. Документы стоящие...»

Часовой у аэродрома, иззябший на утреннем морозце, пошутил:

— И чего вам не спится-то, Марья Фёдоровна? В такую рань. Я бы дрых сейчас за милую душу.

— Сменят, и дрыхни. Чего тебе ещё. А у меня работа.

Она прошла к самолёту. Вошла внутрь и, ударяясь коленями в темноте о какие-то ящики, добралась до самого дальнего угла в хвосте.

Она заметила ещё с вечера, что здесь, между бочкой и какими-то досками, образовалось маленькое пространство, как будто кабинка. Она накрыла кабинку брезентом и улеглась на доски.

Она точно засекала время. Через сорок минут пилот начнёт прогревать мотор, а через час взлетит. Куда? А какая разница? Главное — отсюда...

2019 год

□

Константин Васильевич ГНЕТНЕВ (род. в 1947 году)

— публицист, писатель,

окончил факультет журналистики ЛГУ

и более 30 лет работал в периодических изданиях

Карелии сотрудником и главным редактором.

Лауреат международной литературной премии

Союза писателей России «Полярная звезда»,

победитель Всероссийского литературного конкурса

«Бородино» губернатора Московской области,

лауреат премии Республики Карелия

в области литературы (2008 и 2014 гг.),

премии журнала «Север» и специальной премии Союза

журналистов Карелии «За мастерство и достоинство»;

заслуженный работник культуры Российской Федерации.

